

НИКОЛАЙ I



И ЕГО ЭПОХА

МИХАИЛ ГЕРШЕНЗОН

SHOUT **IT**
SHARE



Annotation

«Время наружного рабства и внутреннего освобождения» — нельзя вернее Герцена определить эту эпоху... Николай не был тем тупым и бездушным деспотом, каким его обыкновенно изображают. Отличительной чертой его характера, от природы вовсе не дурного, была непоколебимая верность раз и навсегда усвоенным им принципам... Доктринер по натуре, он упрямо гнул жизнь под свои формулы, и когда жизнь уходила из-под его рук, он обвинял в этом людское непослушание... и неуклонно шел по прежнему пути. Он считал себя ответственным за все, что делалось в государстве, хотел все знать и всем руководить — знать всякую ссору предводителя с губернатором и руководить постройкой всякой караульни в уездном городе, — и истощался в бесплодных усилиях объять необъятное и привести жизнь в симметричный порядок... Он не злой человек — он любит Россию и служит ее благу с удивительным самоотвержением, но он не знает России, потому что смотрит на нее сквозь призму своей доктрины.

- Михаил Гершензон
 - От редактора-составителя
 - Введение
 - Глава I
 - Наружность Николая I
 - Личный обиход Николая
 - Письмо Николая I брату великому князю Константину Павловичу
 - Манифест 14 марта 1848 года
 - Речь Николая депутатам петербургского дворянства 21 марта 1848 года
 - Собственноручная записка Николая I о прусских делах 1848 года
 - Глава II
 - Глава III
 - Петербургская администрация
 - Власть в провинции
 - Губернатор николаевского времени
 - Глава IV
 - Правосудие при Николае I
 - Телесные наказания
 - Кнут и шпицрутены (Бунт в военных поселениях, 1832 год)

- Одна из резолюций Николая I
- Глава V
 - Речь Николая I в заседании Государственного совета 30 марта 1842 года
 - Что сделано было в царствование императора Николая I для ограничения крепостного права
 - Крестьянские бунты
 - Бунт удельных крестьян в 1838 году
- Глава VI
 - Военное воспитание
 - Полковой командир николаевского времени
 - Солдатская служба
 - Интендантство
- Глава VII
 - Цензура
 - Высочайший рескрипт на имя министра народного просвещения А. С. Шишкова (19 августа 1827 года)
 - Десятилетие Министерства народного просвещения 1833–1843 годов (Всеподданнейший доклад С. С. Уварова)
 - Средняя и высшая школа после 1848 года
- Глава VIII
 - Проект графа А. Бенкендорфа об устройстве высшей полиции
 - Письма М. М. Фока к А. Х. Бенкендорфу[12]
 - Донесения агента III отделения из Москвы (1848 г.)
 - К характеристике III отделения
- Глава IX
 - Два поколения
 - Кружки 30-х годов
 - В начале 40-х годов
 - Петрашевцы
 - Идеи петрашевцев
 - Арест Петрашевцев 1849 года
- Глава X
 - Состояние государства в 1841 году
 - Россия в конце царствования Николая I (Из «Думы русского» П. А. Валуева, середина 1855 года)

• notes

- 1
- 2

- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ 10
- ☐ 11
- ☐ 12
- ☐ 13
- ☐ 14
- ☐ 15
- ☐ 16
- ☐ 17
- ☐ 18
- ☐ 19

Михаил Гершензон

Николай I и его эпоха

*Удивительное время наружного
рабства и внутреннего
освобождения.*

А. Герцен

От редактора-составителя

Издательством была мне поставлена определенная задача: составить из существующего печатного материала книгу, которая знакомила бы читателей с эпохой Николая I. Такие популярные сводки полезны, но и опасны: если и всякая общая история или характеристика эпохи, лица и проч. неминуемо субъективны, то в особенности должен страдать этим недостатком подбор немногих отрывков из обширной и во многом противоречивой литературы. Необходимо, по крайней мере, чтобы выбор этот не был случаен, чтобы в основание его была положена определенная мысль, последовательно проводимая.

Мысль, руководившая мною при составлении этой книги, выражена в ее эпиграфе, взятом у Герцена, и полнее во «Введении», заимствованном также у Герцена. «Время наружного рабства и внутреннего освобождения» — нельзя вернее в немногих словах определить этот период русской истории. Еще никогда власть не угнетала народ и общество так систематично и жестоко и никогда русское общество не переживало такого крутого умственного перелома, как в эту эпоху. Но для полноты характеристики надо прибавить, что и это «порабощение» оказалось в значительной мере призрачным и «освобождение» — болезненным: неизбежный результат противоестественного разобщения материи и духа.

Николай не был тем тупым и бездушным деспотом, каким его обыкновенно изображают. Отличительной чертой его характера, от природы вовсе не дурного, была непоколебимая верность раз усвоенным им принципам, крайнее доктринерство, мешавшее ему видеть вещи в их подлинном виде. По-видимому, еще в юности, лишенный всякого житейского опыта, он выработал себе небольшое число совершенно абстрактных идей — о назначении и ответственности монарха, о целях государственной жизни и проч. Эти взгляды, сложившиеся у него преимущественно под влиянием примера прусских хозяйственных королей XVIII века, были до крайности архаичны, не соответствовали ни духу времени, ни условиям жизни огромного, сложного государства, какова Россия, а главное, он сам нисколько не походил на тех прусских королей, не обладая ни их гибкостью и ловкостью, ни их удивительным чутьем действительности.

Доктринер по натуре, он упрямо гнул жизнь под свои формулы, и когда жизнь уходила из-под его рук, он обвинял в этом людское непослушание, неспособность своих подчиненных или себя самого, но продолжал так же упорно верить в святость

формулы и неуклонно шел по прежнему пути. Он считал себя ответственным за все, что делалось в государстве, хотел все знать и всем руководить, — знать всякую ссору предводителя с губернатором и руководить постройкой всякой караульни в уездном городе, — и истощался в бесплодных усилиях объять необъятное и привести жизнь в симметрический порядок. Многообразие, хаотичность жизни, мешавшие неуклонному проведению его доктрины, приводили его в отчаяние, все его усилия были направлены на то, чтобы изыскать средства, при помощи которых можно было бы обуздать это буйное непослушание вещей и людей ради полного торжества принципов, оттого он стремится прикрепить всякого подданного к его месту, оттого требует от начальников и подчиненных слепого послушания, оттого силится парализовать мысль — главный источник всякого «беспорядка» в мире. Он не злой человек — он только доктринер, он любит Россию и служит ее благу с удивительным самоотвержением, но он не знает России, потому что смотрит на нее сквозь призму своей доктрины. Едва ли на протяжении XIX века найдется в Европе еще один государственный деятель, так детски неопытный и в делах правления, и в оценке явлений и людей, как Николай. За тридцать лет царствования он ни на шаг не подвинулся в знании жизни.

Это фанатическое доктринерство, при отвлеченности и узости самой доктрины, разумеется, не могло иметь успеха, не только прочного — об этом нечего говорить, — но даже временного. С первого до последнего дня Николай видит себя кругом обманутым; конечно, его обманывали еще несравненно больше, нежели он мог видеть. Как ни борется он с лихоимством, казнокрадством, недобросовестностью в службе — они процветают на его глазах. Его обманывали даже в том, что он всего сильнее любил и чему более всего верил: на смотр гвардии, в его личном присутствии, сгоняют в первые ряды самых рослых и наилучше обученных солдат других, не занятых в этот день полков. Вся официальная Россия — военная и бюрократическая — деморализуется при нем глубочайшим образом, вся насквозь пропитывается бездушным формализмом, одинаково пагубным и для власти, и для подвластных. Это было неизбежное последствие того принципа слепого повиновения, который неуклонно проводил Николай, и Николай страдал при всяком проявлении недобросовестности или тупости своих агентов, но приписывал зло не своему принципу, а, напротив, недостаточно строгому его исполнению, и только усугублял меры, направленные к его упрочению. В общем, ему не удалось

даже на время вогнать жизнь в свои фантастические формы, его правление представляет собой только непрерывный ряд попыток обуздать жизнь, попыток судорожных, каждый раз безуспешных и оттого все более грубых, все более жестоких. Он не поработил Россию, а только калечил ее тридцать лет с целью порабощения.

Он не справился даже с материальной жизнью, — еще призрачнее оказалась его власть над духом. Напротив, чем больше он стеснял внешнюю свободу, тем больше энергия скоплялась внутри, и чем ожесточеннее он гнал мысль, тем сильнее она возбуждалась. Никогда, ни раньше, ни позднее, умственное движение в русском обществе не достигало такой глубины и напряженности, как в эту пору. В его царствование дважды, по-разному, но с одинаковой страстностью, были поставлены и решены самые коренные вопросы бытия и познания: раз на почве германской идеалистической философии («идеалисты 30-х годов»), другой раз на почве французских социалистических идей (петрашевцы). И оба эти движения характеризуются одной преобладающей в них чертой: отвлеченностью, утопизмом. Это были не основанные на опыте, а законодательствующие опыту идеологии, как бы чудное сокровище драгоценных медалей, на которые нельзя купить хлеба и которые больно — до сих пор больно — разменивать на монету. Так Николай и в духовной области, как в материальной, тяжко изувечил русскую жизнь. Он надолго определил — не ход ее развития, а ненормальность этого хода в целом.

Такова мысль, положенная в основание этой книги. Что касается отрывков, из которых она составлена, то при выборе их я ставил себе в закон заимствовать, наряду с подлинными историческими документами, каковы манифесты, письма, речи Николая и проч., только достоверные фактические показания очевидцев, избегая по возможности как общих, голословных характеристик (разумеется, за исключением «Введения»), так и сводных обзоров позднейших исследователей. От последнего правила я отступил только в трех случаях, где мне казалось необходимым дать последовательный перечень мер, принятых на протяжении всего царствования, — именно в главах о школе (отрывок из статьи В. С. Иконникова), цензуре (отрывок из статьи В. Е. Якушкина) и крепостном праве (отрывок из книги В. М. Семевского). Некоторые существенные проблемы в книге (например, политика власти в отношении инородцев, Польша и др.) обусловлены недостатком места в книге, и без того превысившей положенные издательством размеры.

Приношу благодарность В. М. Семевскому и В. Е. Якушкину за разрешение перепечатать упомянутые отрывки из их работ.

Введение

Власть и общество при Николае I

Те двадцать пять лет, которые протекали до 14 декабря, труднее поддаются характеристике, чем вся эпоха, следовавшая за Петром I. Обзор этого периода затрудняют два противоположных течения. Одно из них идет по поверхности, другое, едва уловимое, совершается в глубинах народного сознания. С виду Россия оставалась неподвижной. Казалось даже, что она идет назад, но, в сущности, все видоизменялось, вставали более сложные вопросы, на которые труднее было дать ответ.

На поверхности официальной России, «на фронте империи», красовались лишь гибель, яркая реакция, бесчеловечные преследования и удвоенный деспотизм. Среди военных парадов, балтийских немцев и диких охранителей видели недоверяющего себе самому холодного, упрямого и безжалостного Николая, такую же посредственность, как и его окружающие. Непосредственно за ним стояло высшее общество. При первом ударе грома, грянувшего над его головой после 14 декабря, оно потеряло всякое понятие о чести и достоинстве, приобретенных с таким трудом, и более уж не возвышалось в царствование Николая. Расцвет русской аристократии кончился.

Все, что было в ее недрах благородного и смелого, находилось в рудниках Сибири. То, что осталось или удержалось в милости властелина, упало до степени подлости или рабского повиновения, хорошо известных из картин Кюстина.

Затем следуют офицеры из гвардии, блестящие и образованные, они становятся все более и более закоренелыми сержантами. До 1825 года все носящие штатское платье сознавали превосходство эполет. Чтобы быть *comme il faut*, нужно было прослужить не менее двух лет в гвардии или по крайней мере в кавалерии. Офицеры стали душой собраний, героями праздников и балов, и, сказать правду, это предпочтение не было лишено основания. Военные были более независимы и держались более достойно, чем пресмыкающееся и малодушное чиновничество. Теперь обстоятельства приняли иной вид: гвардия разделила участь аристократии, лучшие из офицеров были сосланы, огромное число других оставило службу, не будучи в состоянии переносить грубый и наглый тон, введенный Николаем. Торопились занять пустые места хорошими служаками или завсегдатаями казарм и манежей. Офицерство упало во мнении общества, черная одежда взяла верх, и мундир

господствовал только в небольших провинциальных городах да при дворе — этой главной гауптвахте империи. Члены императорской фамилии и ее представитель оказывали военным предпочтение, совершенно не соответствующее их положению. Однако это равнодушие публики к форме не доходило до того, чтобы в обществе были приняты гражданские чиновники. Даже в провинции к ним питали непреодолимое отвращение, что, однако, не мешало росту бюрократического влияния. После 1825 года все управление становится пресмыкающимся и жалким взамен того аристократически-невежественного, каким оно было раньше. На место министерств утверждаются канцелярии. Их начальники становятся дельцами, а высшие чиновники — писарями. В гражданском сословии они занимают то же место, которое в гвардии принадлежало безнадежным служакам. У этих изощрившихся во всякого рода формальностях и чуждых всяких высших соображений холодных исполнителей преданность правительству покоится на любви к лихоимству.

Центром политической науки Николая была казарма и канцелярия. Слепая и лишенная общего смысла дисциплина, соединенная с бездушным формализмом австрийских сборщиков, — такова пружина славной организации сильной власти в России. Какая нищета правительственной мысли, какая проза абсолютизма, какая жалкая пошлость! Это была самая простая и грубая форма деспотизма.

Прибавим к этому шефа жандармов графа Бенкендорфа, имеющего власть отменять решения суда и вмешиваться решительно во все, и главным образом в политические преступления. Он образовал целую инквизиционную армию наподобие тайного общества полицейских масонов, которое от Риги до Нерчинска имело своих братьев-шпионов и сыщиков. Бенкендорф был начальником Третьего отделения собственной Его Величества канцелярии (название главного сыскного отделения). По временам перед судом этой канцелярии в лице какого-нибудь писателя или ученого предстает в качестве подсудимого цивилизация. Одни идут за другими, их ссылают и сажают в крепости.

Глядя на официальную Россию, сердце исполняется унынием. С одной стороны, Польша, разбитая и с невероятным упорством истерзанная, с другой — сумасшедшая война. В течение всего царствования тянется она, поглощая войска за войсками, ни на шаг не раздвинув нашего владычества на Кавказе. И над всем этим — полное унижение и неспособность правительства.

Внутри идет огромная работа. Глухо и безмолвно, но деятельно и непрерывно повсюду растет недовольство. В эти

двадцать пять лет революционные идеи отвоевали больше места, чем в течение целого предшествовавшего столетия, хотя они еще и не проникли в народ.

Русский народ продолжал держаться в стороне от политических сфер; он не имел достаточно поводов к тому, чтобы принимать участие в работе, которая происходила в другом слое нации. Продолжительные страдания побуждают к своего рода величию, русский народ слишком страдал для того, чтобы иметь право волноваться за небольшое улучшение своего положения, он скорее предпочитает смело оставаться нищим в лохмотьях, чем надевать на себя заштопанное платье. Если же он не принимает никакого участия в движении идей, которое охватывало другие классы, то это еще совершенно не значит, чтобы в его душе ничего не происходило. Русскому народу живется тяжелее, чем в старину, его взор печальнее, несправедливость крепостного состояния и грабеж государственных чиновников становятся для него невыносимее. Правительство нарушило спокойствие общины устройством принудительных работ, в самой деревне сажают по тюрьмам и сокращают отдых крестьянина в собственной его хижине введением сельской полиции (становые приставы). Процессы против поджигателей, убийства помещиков и восстания крестьян увеличиваются в огромных размерах. Многочисленное раскольничье население ропщет. Эксплуатируемое и притесняемое духовенством и полицией, оно далеко еще не сплотилось. По временам в этих мертвых и недоступных для нас глубинах слышатся смутные звуки, которые предвещают ужасные бури. Это недовольство русского народа, о котором мы говорим, при поверхностном взгляде не очевидно. Россия всегда представлялась настолько спокойной, что трудно было думать, чтобы в ней что-либо происходило. Немного людей знают о том, что происходит под саваном, которым правительство покрывает трупы, пятна крови и военные экзекуции, с высокомерным лицемерием заявляя, что под этим саваном нет ни трупов, ни крови. Что знаем мы о сибирских поджигателях, об убийствах помещиков, в одно и то же время организованных во многих деревнях, что знаем мы об отдельных бунтах, которые вспыхивали в то время, когда Киселев вводил новое административное управление, что знаем мы о восстаниях в Казани, Вятке и Тамбове, где должно было искать убежища от пушек?..

Интеллектуальная работа, о которой мы говорили, производилась не в высших и не в низших слоях русского общества, но как раз в середине, то есть по большей части в среднем дворянстве. Факты, которые мы будем приводить, казалось, не имели бы большой важности, но не следует забывать,

что пропаганда, как и всякое воспитание, идет в тиши и особенно, когда она не смеет появиться при свете дня.

Влияние литературы значительно возрастает и проникает все глубже и глубже; литература не изменяет своей миссии и остается пропагандно-либеральной, поскольку это возможно при нашей цензуре.

Жажда просвещения захватывает все новое поколение; гражданские и военные школы, гимназии, лицеи изобилуют учениками; дети более бедных родителей теснились в различных институтах. Правительство, которое еще в 1804 году привлекало детей в школу привилегиями, удерживает всеми средствами их стечение, возрастают трудности приема и экзаменов, учеников запугивают; министр народного просвещения циркуляром ограничивает образование для крепостных. В то же время Московский университет становится средоточием русской цивилизации. Император питает к нему отвращение, недоволен им, он каждый год отправляет в ссылку большое количество учащихся в нем, не оказывает ему чести своим посещением во время проездов через Москву, но университет процветает и приобретает влияние, им пренебрегают, но он ничего и не ждет, продолжает свою работу и достигает истинного могущества. Цвет молодежи провинций, смежных с Москвой, тянется в ее университет, и каждый год ряд лиценциатов рассыпается по всему государству в качестве служащих, врачей и учителей.

В глубине провинции и особенно в Москве явно увеличивается класс независимых людей, не соглашающихся ни на какую публичную службу и занимающихся управлением своих имений, науками или литературой. Они ничего не требуют от правительства, если это последнее оставляет их в покое. Они — полная противоположность петербургской знати, которая привязана к публичной службе и ко двору, преисполнена рабского честолюбия, ждет всякой правительственной службы и ею только живет. Ничего не прося, оставаясь независимыми и не добиваясь должностей, они именуются при деспотическом режиме творцами оппозиции. Правительство косо глядит на этих «лентяев» и недоволено ими. На самом деле они составляют ядро цивилизованных людей и настроены против петербургского режима. Одни из них целыми годами ездят по заграничным странам, внося оттуда свободные идеи, другие, приезжая на несколько месяцев в Москву, остальное время года проводят у себя в имениях и тут читают все новое и следят за ходом умственной жизни в Европе. Чтение становится модой среди провинциальных дворян. Начинают хвалиться своими библиотеками и выписывают самые новые французские романы,

«Journal des Debats» и «Gazette d'Augsbouig». Признаком хорошего вкуса служит обладание запрещенными книгами. Я не знаю ни одного порядочного дома, где не было бы сочинения Кюстина о России, которое Николай особенно строго воспретил в России. Лишение всякой возможности деятельности и постоянная угроза тайной полиции тем сильнее толкают молодежь отдаваться чтению. Количество идей в обращении становится больше.

Герцен. «Движение общественной мысли в России».

Глава I

Император Николай I

(Его личность и политические взгляды)

Наружность Николая I

Император Николай Павлович был тогда (1828 г.) 32 лет, высокого роста, сухощав, грудь имел широкую, руки несколько длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий, подходящий к тенору, но говорил несколько скороговоркой. Вообще он был очень строен и ловок. В движениях не было заметно ни надменной важности, ни ветреной торопливости, но видна была какая-то неподдельная строгость. Свежесть лица и все в нем выказывало железное здоровье и служило доказательством, что юность не была изнежена и жизнь сопровождалась трезвостью и умеренностью. В физическом отношении он был превосходнее всех мужчин из генералитета и офицеров, каких только я видел в армии, и могу сказать поистине, что в нашу просвещенную эпоху величайшая редкость видеть подобного человека в кругу аристократии.

Из записок И. П. Дубецкого
Русская Старина, 1895, май.

Личный обиход Николая

Какой пример давал всем Николай Павлович своим глубоким почтением к жене и как он искренно любил и берег ее до последней минуты своей жизни! Известно, что он имел любовные связи на стороне — какой мужчина их не имеет, во-первых, а во-вторых, при царствующих особах нередко возникает интрига для удаления законной супруги, посредством докторов стараются внушить мужу, что его жена слаба, больна, надо ее беречь и т. п., и под этим предлогом приближают женщин, через которых постороннее влияние могло бы действовать. Но император Николай I не поддавался этой интриге и, несмотря ни на что, оставался верен нравственному влиянию своей ангельской супруги, с которой находился в самых нежных отношениях.

Хотя предмет его посторонней связи и жил во дворце, но никому и в голову не приходило обращать на это внимание, все это делалось так скрыто, так благородно, так порядочно. Например, я, будучи уже не очень юной девушкой, живя во дворце под одним кровом, видясь почти каждый день с этой особой, долго не подозревала, что есть что-нибудь неправильное в жизни ее и государя, так он держал себя осторожно и почтительно перед женой, детьми и окружающими лицами. Бесспорно, это великое достоинство в таком человеке, как Николай Павлович. Что же касается той особы (фрейлины В. А. Нелидовой, скончавшейся в октябре 1897 года), то она и не помышляла обнаруживать свое исключительное положение между своих сотоварищей-фрейлин, она держала себя всегда очень спокойно, холодно и просто. Конечно, были личности, которые, как и всегда в этих случаях, старались подслужиться к этой особе, но они мало выигрывали через нее. Нельзя не отдать ей справедливости, что она была достойная женщина, заслуживающая уважения, в особенности в сравнении с другими того же положения.

После кончины Николая Павловича эта особа тотчас же хотела удалиться из дворца, но воцарившийся Александр II, по соглашению со своей августейшей матерью, лично просил ее не оставлять дворца (она и скончалась во дворце, которого не покидала с того времени.): но с этого дня она больше не дежурила, только приходила читать вслух императрице Александре Федоровне, когда ее величество была совсем одна и отдыхала после обеда.

К себе самому император Николай I был в высшей степени строг, вел жизнь самую воздержанную, кушал он замечательно мало, большей частью овощи, ничего не пил, кроме воды, разве

иногда рюмку вина, и то, право, не знаю, когда это случалось, за ужином кушал всякий вечер тарелку одного и того же супа из протертого картофеля, никогда не курил, но и не любил, чтоб и другие курили. Прохаживался два раза в день пешком обязательно — рано утром перед завтраком и занятиями и после обеда, днем никогда не отдыхал. Был всегда одет, халата у него и не существовало никогда, но если ему нездоровилось, что, впрочем, очень редко случалось, то он надевал старенькую шинель. Спал он на тоненьком тюфячке, набитом сеном. Его походная кровать стояла постоянно в опочивальне августейшей супруги, покрытая шалью. Вообще вся обстановка, окружавшая его личную интимную жизнь, носила отпечаток скромности и строгой воздержанности. Его величество имел свои покои в верхнем этаже Зимнего дворца, убранство их было не роскошно. Последние годы он жил внизу, под апартаментами императрицы, куда вела внутренняя лестница. Комната эта была небольшая, стены оклеены простыми бумажными обоями, на стенах — несколько картин. На камине большие часы в деревянной отделке, над часами — большой бюст графа Бенкендорфа. Тут стояли: вторая походная кровать государя, над ней небольшой образ и портрет великой княгини Ольги Николаевны — она на нем представлена в гусарском мундире полка, которого была шефом, — вольтеровское кресло, небольшой диван, письменный рабочий стол, на нем портреты императрицы и его детей и незатейливое убранство, несколько простых стульев, мебель вся красного дерева, обтянута темно-зеленым сафьяном, большое трюмо, около которого стояли его сабли, шпаги и ружье, на приделанных к рамке трюмо полочках стояли склянка духов — он всегда употреблял «Parfum de la Cour» (придворные духи), — щетка и гребенка. Тут он одевался и работал... тут же он и скончался! Эта комната сохраняется до сих пор (1888 г.), как была при его жизни.

Из воспоминаний баронессы М. П. Фредерикс.
Исторический вестник, 1898, январь.

Письмо Николая I брату великому князю Константину Павловичу

6 июня 1826 года

Вот наконец доклад следственной комиссии и список лиц, преданных верховному уголовному суду. Хотя все дело достаточно знакомо вам, я думаю, вы не без интереса прочтете обозрение, которое хорошо сделано, точно и, можно вполне прибавить, *отвратительно* (hideux). Нельзя в достаточной степени возблагодарить Бога, что он спас нас от всех ужасов, которые готовились для нас, и, что еще важнее, от всего ужаса покушения на нашего ангела. По-видимому, Богу угодно было позволить всему зайти как раз настолько далеко, чтобы все это сплетение ужасов и нелепостей назрело и чтобы тем еще более наглядно показать вечно неверующим (incredules), что порядок вещей, который существовал и который столь трудно искоренить, рано или поздно должен привести к подобным результатам. Если же и после этого примера найдутся неисправимые, то мы, по крайней мере, имеем право и преимущество доказывать прочим необходимость мер быстрых и строгих против всякой попытки разрушения, направленной против установленного порядка, оснащенного веками славы.

Шильдер.

«Император Николай I», т. I, стр. 432.

Манифест 14 марта 1848 года

После благословений долголетнего мира запад Европы внезапно взволнован ныне смутами, грозящими ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства.

Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились сопредельной Германии, и, разливаясь повсеместно с наглостью, возраставшей по мере уступчивости правительств, разрушительный поток сей прикоснулся, наконец, и союзных нам империи Австрийской и королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей Богом вверенной России.

Но да не будет так!

По заветному примеру наших православных предков, призвав на помощь Бога Всемогущего, мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали, и, не щадя себя, будем в неразрывном союзе с святой нашей Русью защищать честь имени русского и неприкосновенность пределов наших.

Мы удостоверены, что всякий русский, всякий верноподданный наш, ответит радостно на призыв своего государя, что древний наш возглас: за веру, царя, и отечество и ныне предскажет нам путь к победе, и тогда, в чувствах благоговейной признательности, как теперь в чувствах святого на него упования, мы все вместе воскликнем:

«С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!»

Шильдер.

«Император Николай I», т. II, стр. 629.

Речь Николая депутатам петербургского дворянства 21 марта 1848 года

21 марта 1848 года государь император удостоил принять избранных депутатов петербургского дворянства для поднесения Его Величеству всеподданнейшего благодарения за все милостивейше дарованные дворянству права и преимущества (порядок совершения дворянских выборов и статья 107 тома IX Свода законов.), а также для изъявления желания поднести Его Величеству адрес о готовности дворян снова принести в жертву престолу и отечеству личность и достояние.

Государь император, удостоив братски обнять их, изъявил монаршее благоволение за прежнюю и настоящую службу дворян и сказал, что он никогда не сомневался в преданности дворянства к престолу и отечеству.

После того Его Величество изволил сказать нам:

«Господа! Внешние враги нам не опасны, все меры приняты, и на этот счет вы можете быть совершенно спокойны. Войска, одушевленные чувством преданности к престолу и отечеству, готовы с восторгом встретить мечом нарушителей спокойствия. Из внутренних губерний я получил донесения самые удовлетворительные. Не далее как сегодня возвратились посланные мною туда два адъютанта мои, которые также свидетельствуют об искренней преданности и усердии к престолу и отечеству. Но в теперешних трудных обстоятельствах я вас прошу, господа, действовать единодушно. Забудем все неудовольствия, все неприятности одного к другому. Подайте между собой руку дружбы, как братья, как дети родного края, так, чтобы последняя рука дошла до меня, и тогда, под моей главой, будьте уверены, что никакая сила земная нас не потревожит.

В учебных заведениях дух вообще хорош, но прошу вас, родителей, братьев и родственников, наблюдать за мыслями и нравственностью молодых людей. Служите им сами примером благочестия и любви к царю и отечеству, направляйте их мысли к добру и, если заметите в них дурные наклонности, старайтесь мерами кротости и убеждением наставить их на прямую дорогу. По неопытности они могут быть вовлечены неблагонадежными людьми к вредным для большинства и пагубным для них самих последствиям. Ваш долг, господа, следить за ними.

У нас существует класс людей весьма дурной и на который я прошу вас обратить особенное внимание — это дворовые люди. Будучи взяты от крестьян, они отстали от них, не имея оседлости

и не получив ни малейшего образования. Люди эти вообще развратны и опасны как для большинства, так и для господ своих. Я вас прошу быть крайне осторожными в отношениях с ними. Часто, за столом или в вечерней беседе, вы рассуждаете о делах политических, правительственных и других, забывая, что люди эти вас слушают и по необразованности своей и глупости толкуют суждения ваши по-своему, то есть превратно. Кроме того, разговоры эти, невинные между людьми образованными, часто вселяют вашим людям такие мысли, о которых без того они не имели бы и понятия. Это очень вредно!

Переходя к быту крестьян, скажу вам, что необходимо обратить особенное внимание на их благосостояние. Некоторые лица приписывали мне по сему предмету самые нелепые и безрассудные мысли и намерения. Я их отвергаю с негодованием. Когда я издал указ об обязанных крестьянах, то объявил, что вся без исключения земля принадлежит дворянину-помещику. Это вещь святая, и никто к ней прикасаться не может. Но я должен сказать с прискорбием, что у нас весьма мало хороших и попечительных помещиков, много посредственных и еще более худых, а при духе времени, кроме предписаний совести и закона, вы должны для собственного своего интереса заботиться о благосостоянии вверенных вам людей и стараться всеми силами снискать их любовь и уважение. Ежели окажется среди вас помещик безнравственный или жестокий, вы обязаны предать его силе закона. Некоторые русские журналы дозволили себе напечатать статьи, возбуждающие крестьян против помещиков и вообще неблагоприятные, но я принял меры — и этого впредь не будет.

Господа! У меня полиции нет, я не люблю ее: вы моя полиция. Каждый из вас мой управляющий и должен для спокойствия государства доводить до моего сведения все дурные действия и поступки, какие он заметит. Если и в моих имениях вы усмотрите притеснения и беспорядки, то убедительно прошу вас, не жалея никого, немедленно мне о том доносить. Будем идти дружной стопой, будем действовать единодушно, и мы будем непобедимы.

Правило души моей — откровенность, я хочу, чтобы не только действия, но намерения и мысли мои были бы всем открыты и известны, а потому я прошу вас передать все мною сказанное всему петербургскому дворянству, к составу которого я и жена моя принадлежим, как здешние помещики, а кроме того, всем и каждому».

Собственноручная записка Николая I о прусских делах 1848 года

«С некоторого времени носится слух о военном движении, предпринимающемся против Берлина. Какая его цель — неизвестно, но можно предполагать, что оно будет обращено против черни, делающей почти каждый вечер из Берлина арену всех своих неистовств. Надо надеяться, что цель эта будет легко достигнута с помощью многочисленного и верного войска, нетерпеливо желающего отомстить за оскорбления и унижения, так мало им заслуженные.

Но когда этот факт совершится, какое будет дальнейшее направление правительства и что надо будет ему сделать, чтоб возвратить монархии бывшую ее силу и восстановить ее прежнюю власть?

В ответ на этот вопрос, казалось бы, сначала необходимым определить: какой именно род правления подходит более к географическому положению Пруссии, к ее прошедшему и к ее настоящему составу.

История свидетельствует, что Пруссия своим величием была обязана воинственному духу и победам своих властителей и в высшей степени воинственному духу, который преобладал в этой стране, опираясь на воспоминания славы и несчастий, из которых Пруссия вышла победительницей при бессмертном ее короле Фридрихе Вильгельме III.

Устройство, данное покойным королем своему войску, было тесно связано с правительственным устройством страны. Все носило на себе отпечаток военного духа, потому что всякий проходил через ряды армии, всякий был приучен к военной дисциплине и всякий повиновался по наследственной привычке.

Если, к великому несчастью страны, эта самая дисциплина не была обращена на старинную систему общественного образования, она по крайней мере вменяла в обязанность для каждого лица пройти через ряды армии. Поэтому можно сказать, что Пруссия до кончины короля была обширной военной колонией, которая, при зове своего короля, составляла один лишь лагерь, один лишь вооруженный народ, с радостью и счастьем следующий за одним лишь голосом своего государя.

Какая же была цель нынешнего короля к разрушению оснований подобного устройства и в желании заменить его — правлением с конституционными формами? Была ли эта страна несчастлива? Была ли она бедна, недовольна? Промышленность,

искусства, науки находились ли в бедственном положении? Не представляло ли королевство вид самый богатый, самый счастливый, какой только можно было встретить? Что же было причиной подобного посягательства на столь блестящее прошедшее?

Рассмотрим теперь эти столь хваленые и столь загадочные конституционные формы; могли ли они быть применены с некоторой последовательностью к стране, в высшей степени военной и привыкшей повиноваться одной лишь воле?

Не ясно ли то, что там, где более *не повелевают, а позволяют* рассуждать вместо повиновения, — там дисциплины более не существует; поэтому повиновение, бывшее до тех пор руководящим началом, переставало быть там обязательным и делалось произвольным. Отсюда происходит беспорядок во мнениях, противоречие с прошедшим, нерешительность насчет настоящего и совершенное незнание и недоумение насчет неизвестного, непонятного, и, скажем правду, *невозможного будущего*. Таким образом, установим тот факт, что Пруссия, для того чтоб остаться той, чем она была, — великой и сильной военной державой, — должна возвратиться к старинным своим учреждениям, основанным на опытах и предприятиях прошедшего, или же она должна перестать быть военной державой, должна спуститься в разряд государств, правда обширных, но слабых, с очень разнообразными, вовсе не однородными местными интересами, и подвергнуться всем превратностям, происходящим от пустословия и страстей 100 или 200 повелителей, заменяющих благотворную волю одного государя, отца своих подданных.

Можно надеяться, что военное движение против Берлина не может и не должно иметь целью восстановить и скрепить то, что было сделано в последнее время и с чего уже получают горькие плоды, но, напротив, восстановить старинное правительственное здание в том виде, в каком оно было в годы славы и благосостояния монархии. Никто не может желать *лишить самого себя* жизни, потому что взять вторично оружие для того лишь, чтоб укрепить жалкое февральское правление, было бы преступлением, ибо это значило бы навсегда погубить Пруссию и заменить ее жалким государством, без силы и прочности.

Но мгновенное военное действие во всей монархии, *во имя короля*, для восстановления или водворения старинного порядка вещей, мне кажется возможным.

Оно должно быть сопровождаемо провозглашением от короля, объявляющего, что во время мартовских событий король не мог без ужаса видеть проливавшуюся кровь своих подданных в

этой братоубийственной борьбе; что, желая во что бы то ни стало прекратить эту борьбу, он уступил мольбам, выраженным ему во имя народа, пожаловав стране желаемые ею учреждения, что, впрочем, он заранее был убежден в том, что со стороны большинства нации не замедлит выразиться неодобрение против этих учреждений, как несогласных с духом народных преданий, со всеми воспоминаниями монархическими, к тому же находящимся в совершенной противоположности с интересами страны. Что убеждение это овладело теперь всеми *благонамеренными* сословиями, что почти ежедневные неистовства самой презренной берлинской черни, не знавшей более никаких границ, угрожали и жизням и собственности. Что поэтому, по мнению короля, наступило время прекратить такой порядок вещей, невыносимый и несовместный с честью Пруссии, и что, опираясь на непоколебимую верность своего войска, прошедшего через целую эпоху всевозможных испытаний безупречно и безукоризненно, — он объявляет все случившееся с февраля 1847 года отмененным и несуществующим; прежние же законы и постановления монархии вновь установленными во всей своей силе, а лица тому противящиеся — изменниками отечеству и вне закона, и что, наконец, везде, где оно только окажется нужным, войско и военная сила будут отвечать за исполнение настоящего постановления».

Русская старина, 1870, I, стр. 295–299 (перевод с французского).

Глава II

Сподвижники Николая I

Изумительная деятельность, крайняя строгость и выдающаяся память, которыми отличался император Николай Павлович, проявились в нем уже в ранней молодости, одновременно со вступлением в должность генерал-инспектора по инженерной части и началом сопряженной с ней службы. Некто Кулибанов, служивший в то время в гвардейском саперном батальоне, передавал мне, что великий князь Николай Павлович, часто навещая этот батальон, знал поименно не только офицеров, но и всех нижних чинов; а что касалось его неумолимости в занятиях, то она просто всех поражала. Летом, во время лагерного сбора, он уже рано утром являлся на линейное и оружейное учение своих саперов: уезжал в 12 часов в Петергоф, предоставляя жаркое время дня на отдых офицерам и солдатам, а затем, в 4 часа, скакал вновь 12 верст до лагеря и оставался там до вечерней зари, лично руководя работами по сооружению полевых укреплений, по прокладыванию траншей, заложению мин и фугасов и прочими саперными занятиями военного времени. Образцово подготовленный и до совершенства знавший свое дело, он требовал того же от порученных его руководству частей войск и до крайности строго взыскивал не только за промахи в работах, но и за фронтовым учением и проделыванием оружейных приемов. Наказанных по его приказанию солдат часто уносили на носилках в лазарет; но в оправдание такой жестокости следует заметить, что в этом случае великий князь придерживался только воинского устава того времени, требовавшего беспощадного вколачивания ума и памяти в недостаточно сообразительного солдата, а за исполнением строгих правил устава наблюдал приснопамятный по своей бесчеловечности всесильный Аракчеев, которого побаивались даже великие князья. Чтобы не подвергаться замечаниям зазнавшегося временщика, требования его исполнялись буквально, а в числе этих требований одно из главных заключалось в наказании солдат за всякую провинность палками, розгами и шпицрутенами до потери сознания.

При таких условиях началась служба Николая Павловича, и, конечно, не могли эти условия не оставить следов на нем. Учения, смотры, парады и разводы он любил неизменно до самой смерти, производил их даже зимой. В гвардейском корпусе, состоявшем из 24 пехотных и кавалерийских полков и 6 отдельных батальонов и кавалерийских дивизионов, он знал по

фамилиям почти всех офицеров фельдфебелей, большинство пажей Пажеского корпуса и многих воспитанников школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и кадетских корпусов. А между тем ознакомление с этими многими сотнями лиц и учащейся молодежи производилось не систематично: государственные дела отнимали у Николая Павловича много времени, но раз узнав фамилию офицера на учении, в карауле, на гауптвахте или на придворном балу, а воспитанника при посылке в ординарцы, он уже не забывал ее.

Впервые мне довелось увидеть Николая Павловича вблизи в августе месяце 1840 года, в день въезда в Петербург невесты наследника цесаревича Александра Николаевича, впоследствии супруги его Марии Александровны. Занимая место в первой шеренге двухвзводного отряда Института Корпуса путей сообщения, стоявшего на Дворцовой площади, я мог хорошо всех видеть, и в числе этих всех особенно выдававшегося своим ростом и фигурой императора, ехавшего верхом с наследником и большой свитой вслед за коляской с помолвленной принцессой. Во второй раз я стоял уже лицом к лицу перед ним, будучи послан в ординарцы, на второй день Пасхи, в следующем году. Близко был я тогда от него, всего на расстоянии шага, но уже не думал его рассматривать: у меня, как говорится, душа упала в пятки, и немудрено: я стоял перед требовательным по фронту Николаем Павловичем. Только когда я отрапортовал ему: «К Вашему Императорскому Величеству от Института Корпуса путей сообщения на посылки прислан», — и государь с довольным лицом, взяв за плечи, похристосовался со мной, душа моя из пяток перекочевала в седьмое небо. Ах, какая была это счастливая минута в жизни и как хотелось мне еще раз пережить ее, попав снова в ординарцы! Но это оказалось невозможным: за последний год моего пребывания в институте я настолько вырос, что годился во фронт гренадерских рот, а кадет такого роста Николай Павлович не любил, великанов было в гвардии довольно, в кадетах же он видел только ребят, и таких напоказ ему и посылали. Но если я не мог более попасть к нему в ординарцы, зато любовался им ежемесячно на разводах (караульные взводы наши чередовались, их было в институте четыре, а разводы с церемонией государь делал только по воскресеньям) и на ежегодном весеннем, называвшемся Майским, но часто бывавшем в апреле, параде. Каких только гвардейских мундиров я не видел за это время на Николае Павловиче, и все они шли ему, что же касается до посадки его на коне, то такого молодца-кавалериста, несмотря на его мощную прямую богатырскую фигуру, редко можно было встретить. Государственные дела не допускали

Николая Павловича заниматься не только исключительно, но даже лишний час войсками и военными делами, тем не менее всякому бросалось в глаза, что он был военным по призванию и совершенно доволен, когда, гарцуя на коне, объезжал свои войска или, стоя на месте, пропускал их мимо себя церемониальным маршем.

Окончив курс, я, перед отправлением на службу в провинцию, не мог отказать себе в удовольствии еще раз взглянуть на государя и, кстати, на его семейство, блестящую свиту и еще более блестящий двор. 25 июня 1844 года, в день рождения государя, был назначен выход в большом Петергофском дворце. В царствование Николая Павловича всякий имевший на плечах пару эполет, без разбора, к какой части войск или специальному роду службы он ни принадлежал, мог являться на выходы во дворец без приглашения или разрешения. Этим правом я воспользовался, чтобы взглянуть на невиданную дотоле церемонию и, может быть, в последний раз в жизни на обожаемого монарха и его семейство. Судьбе угодно было, чтобы последнего не случилось: семейные дела принудили меня выйти в отставку, и только через 3 года я сделался снова жителем Петербурга. Тут уже мне приходилось видеть государя почти ежедневно. Его можно было встретить в разные часы дня на улице, вечером в театре и даже ночью в маскараде. Николай Павлович любил вечерние развлечения, что являлось, конечно, необходимостью после усиленных занятий с очень раннего утра вплоть до обеда. Он усердно посещал итальянскую оперу, в его царствование всегда первоклассную по составу труппы, бывал часто в балете и во французском театре, реже в русском и никогда — в немецком (вероятно, по недостатку выдающихся артистов в труппе). Редко пропускал он и маскарады в Большом театре и Дворянском собрании. В мундире с черным кружевным домино через плечо (обязательная маскарадная форма, вскоре отмененная), обыкновенно с маской под руку, ходил он по залам, не требуя никаких почестей, не отвечая даже на поклоны и снимание перед ним шляп лицами, не знавшими общепринятых маскарадных правил. Каким странным казалось это правило в России многим, привыкшим встречать Николая Павловича не только с почестями, подобающими государю, но и со страхом, внушавшимся одним его пристальным взглядом. Не так, однако, смотрел он на свои prerogatives в театре и маскараде: в первом он позволял публике самостоятельно высказывать свое одобрение или неодобрение пьесе и артистам, а в маскараде, где все должны быть равны, он таким и сам хотел быть. В маскараде он оставался обыкновенно до 2-х часов, если же задерживался на четверть или

в крайнем случае на полчаса, то в этом, без сомнения, была виновата маска, заставлявшая его забыть поздний час.

Известно, что Николай Павлович был образцовый семьянин. Проведя все утро и предобеденное время в занятиях, он за обедом в семейном кругу начинал свой отдых. Почти ежедневно около 7 часов, в начале сороковых годов, он проходил пешком в Мариинский дворец, чтобы навестить свою старшую дочь, герцогиню Лейхтенбергскую, а младшие, тогда еще незамужние, дочери, Ольга и Александра Николаевны, приезжали с императрицей Александрой Федоровной в театр, где поджидал их отец. Нечего и говорить, что, имея двух дочерей-не-вест, он заботился о их развлечении, вывозя на балы и вечера с музыкой и танцами, ввиду чего покидал часто театр после первых двух актов. Посещались балы послов и знати, концертные и танцевальные вечера Михаила Павловича и его супруги Елены Павловны, у которых были свои три дочери-невесты (Мария, Елизавета и Екатерина Михайловны), но чаще всего балы и вечера в Аничковом дворце, где жил с молодой супругой наследник цесаревич. Понятно, что и в Зимнем дворце давались часто балы и изредка любимые Николаем Павловичем маскарады, не было недостатка и в спектаклях в театре Эрмитаж с участием всех трупп, кроме опять-таки немецкой, но самыми интересными были почти ежедневные семейные вечера на половине императрицы, на которые кроме родных имели доступ приближенные к государю и императрице лица. Таких лиц при дворе и в городе было немало, и благодаря им в Петербурге знали все, что на этих вечерах происходило. На первом плане стояла музыка, исполнителями которой были солисты императорского двора, а иногда и знаменитые виртуозы-иностранцы и певцы итальянской оперы. Часто в таких домашних концертах принимал участие сам государь, отлично игравший на флейте. Когда не было музыки, занимались чтением новейших русских и иностранных литературных произведений, а желающие играли в карты. И в этом занятии Николай Павлович не отставал от других, только он любил играть вдвоем, в баккара. По этому поводу рассказывали, какой урок он дал одному из придворных, обратившемуся к нему с не совсем уместной шуткой:

— Что сказал бы Александр Христофорович (Бенкендорф), увидя вас играющим в такую игру?

— Ничего бы не сказал.

— Несомненно, но игра все-таки запрещенная.

— Почему?

— Потому что она бескозырная.

— Вы забываете, что я сам козырь, — отвечал Николай

Павлович хотя и с улыбкой, но ясно намекая, что он стоит выше закона.

За слабостью здоровья императрицы такие вечера не заходили за полночь, и Государь очень часто занимался еще час-другой перед сном особенно смешными делами, которые не успел обдумать и решить в урочное время утренних занятий. Вставал он очень рано. В зимние дни в 7 часов утра проходившие по набережной Невы мимо Зимнего дворца могли видеть государя, сидящего у себя в кабинете за письменным столом, при свете 4-х свечей, прикрытых абажуром, читающего, подписывающего и перебирающего целые вороха лежавших перед ним бумаг. Но это только начало его дневной работы — работы недоконченной или отложенной для соображения в предшествующие дни, — настоящая же работа закипала в 9 часов, с прибытием министров. У каждого из них были известные дни в неделе, когда они являлись со своими туго набитыми портфелями, но в иной день приходилось государю принимать несколько министров и выслушивать доклады по совершенно различным отраслям управления. Сколько сосредоточенности, памяти и навыка нужно было иметь Николаю Павловичу, чтобы не сбиться в приказах и распоряжениях, отдаваемых то одному, то другому из его 13 министров, имевших мало общих дел между собой.

В первом часу дня, невзирая ни на какую погоду, государь отправлялся, если не было назначено военного учения, смотра или парада, в визитацию или, вернее, инспектирование учебных заведений, казарм, присутственных мест и других казенных учреждений. Чаще всего он посещал кадетские корпуса и женские институты, где принимались дети с десятилетнего возраста, и реже заведения даже закрытые, где приемный возраст учащихся напоминал нечто университетское. В таких заведениях он входил обыкновенно во все подробности управления и почти никогда не покидал их без замечания, что одно следует изменить, а другое вовсе уничтожить. При своей необычайной памяти он никогда не забывал того, что приказывал, и горе тому начальству заведения, если при вторичном посещении последнего он находил свои замечания хотя не вполне исполненными. И не в одни учебные заведения и казенные учреждения проникал бдительный глаз Николая Павловича. В Петербурге ни один частный дом в центре, в России ни одно общественное здание не возводились и не перестраивались без его ведома: все проекты на таких родов постройки он рассматривал и утверждал сам. Когда успевал он этим заниматься, было для всех загадкой, но что он вникал в характер каждой постройки, было видно из замечаний и надписей, делавшихся им на проектах. Иногда те и другие имели

шуточный характер в отношении приближенного лица, строившего или переделывавшего свой дом, иногда же в дурном расположении духа делалась придирка к какой-нибудь детали, и проект не утверждался. Так, на одном из таких проектов составитель его нарисовал 2,5-аршинную масштабную фигуру человека, должную наглядно изображать высоту цоколя, в цилиндре, цветном фраке, жилете и панталонах. Государь зачеркнул фигуру с надписью: «Это что за республиканец!» — и только. По поводу этой заметки по Корпусу путей сообщения был издан приказ, чтобы масштабные фигуры на проектах изображались только в виде солдат в шинели и фуражке. На проектах церквей и других общественных зданий в провинции Николай Павлович, утверждая их, часто надписывал: «Витберг!» Или: «Работа Витберга!» Известный строитель проектированного храма, московского храма Христа Спасителя на Воробьевых горках, был обвинен в разных злоупотреблениях, лишен всего имущества и сослан в Вятскую губернию. Выдающийся талант его как зодчего, каких не много было в то время в России, привлекал к нему немало заказчиков на разного рода проекты, тем более что, нуждаясь в средствах, он недорого брал за работу. Николай Павлович по одному взгляду на фасад, сделанный рукой выдающегося художника, узнавал эту руку, утверждал проект, но Витберга не помиловал.

Военных и все военное государь отличал и любил по преимуществу: войска в строю, мундир и воротник, застегнутые на все крючки и пуговицы, военная выправка и руки по швам тешили его глаз. Военных людей на службе и в отставке отличали усы, усы были их привилегией, и никто, кроме них, не смел их отращивать, не считая купцов и простолудинов, не бривших бород. Права на усы лишены были даже медицинский персонал военного ведомства и капельмейстеры военных оркестров, дирижировавшие музыкантами с усами. Сбривать усы были должны не только переименовавшиеся из военных в гражданские чины, но и поступавшие на гражданскую службу с сохранением военных чинов. На все была форма, распространявшаяся даже на женщин: неправильно присвоенная выездная форма лакея или дамская шляпка на голове купчихи или мещанки вызывали вмешательство полиции. Впрочем, эта старинная регламентация времен Павла и Екатерины в последние годы жизни Николая Павловича соблюдалась нестрого, она не была отменена, но на несоблюдение ее смотрели сквозь пальцы, только незаконное ношение усов преследовалось еще по-старому.

Николай Павлович любил окружать себя военными и всегда и во всем отдавал им предпочтение. Ни у одного из русских

императоров не было столько флигель-адъютантов, свиты генерал-майоров и генерал-адъютантов, сколько у него, и ни у кого не было так много министров в военном мундире. Несомненно, что троих своих министров, носивших гражданские чины, он с удовольствием заменил бы военными, если бы нашел между сими последними специалистов, способных принять их портфели.

Вот список министров начала сороковых годов:

1. Генерал-адъютант князь Волконский — министр Императорского двора, впоследствии светлейший князь и генерал-фельдмаршал.

2. Генерал-адъютант граф Чернышев — военный министр, позднее светлейший князь.

3. граф Канкрин — министр финансов. С 1843 г. тайный советник Вронченко.

4. граф Бенкендорф — шеф жандармов.

5. граф Перовский — министр внутренних дел.

6. Статс-секретарь граф Уваров — министр народного просвещения.

7. Генерал-адъютант граф Протасов — обер-прокурор Святейшего Синода.

8. Генерал-адъютант граф Толь — главный управляющий путями сообщения и публичных зданий.

Генерал-адъютант граф Клейнмихель — то же с 1842 г., позднее министр путей сообщения.

9. Вице-канцлер граф Нессельроде — министр иностранных дел, позднее государственный канцлер.

10. Статс-секретарь граф Панин — министр юстиции.

11. Генерал-адъютант граф Киселев — министр государственных имуществ.

12. Генерал-адъютант граф Адлерберг — главноначальствующий над почтовым департаментом, позднее и министр Императорского двора.

13. Генерал-адъютант светлейший князь Меншиков — управляющий морским министерством.

Последние шесть министров пережили Николая Павловича, а прочих девять он сам проводил на вечный покой.

Из числа переименованных министерств и управлений три были учреждены Николаем Павловичем. Первым, по вступлении его на престол, начало действовать третье отделение собственной Его Величества канцелярии с шефом жандармов графом Бенкендорфом во главе. Государь питал к последнему большое расположение, о публичке сказать того же не приходится, хотя поводом для этого был не он сам, а начальник его штаба и

управляющий отделением темного происхождения генерал Дуббельт. Особых, бросающихся в глаза отличий ни тот, ни другой, впрочем, не получали, как это имело место с князем П. М. Волконским, принявшим в свое управление второе из вновь учрежденных — министерство Императорского двора. Он получил и титул светлейшего князя, и чин генерал-фельдмаршала, хотя никакой армией не командовал. У Николая Павловича было много любимцев и между министрами (графы Клейнмихель и Адлерберг), но выдающиеся награды он давал только тем, кого считал достойными их. Может быть, он не всегда верно оценивал заслуги отличаемых, но современники его в таком случае говорили: «На милость образца нет»; лучше излишество в наградах, чем в наказаниях...

Третье министерство — Государственных имуществ, учрежденное Николаем Павловичем в 1839 году, принял под свое руководство граф П. Д. Киселев, управлявший после войны с турками в 1828–1829 годах княжествами Валахией и Молдавией (нынешняя Румыния). В начале сороковых годов он только устраивал свое министерство.

Необычайными милостями Николая Павловича пользовался военный министр А. И. Чернышев, далеко не блестяще ведший хозяйство армии, что и обнаружилось в Крымскую кампанию неудовлетворительным вооружением пехоты и недостатком самых необходимых военных запасов, а между тем он за время управления министерством получил титул князя, потом светлейшего князя, а при увольнении от должности — казенный дом, в котором жил, в собственность. В сделанных упущениях государь, быть может, брал вину на себя, так как всем, что касалось до военного ведомства, управлял сам, предоставляя Чернышеву лишь исполнительную часть, но все же обращать внимание государя на недостатки армии было его дело. Особенным благоволением Николая Павловича пользовался министр финансов граф Канкрин, считавшийся на своем посту чуть-чуть что не гением. Как-то странно называть гениальным министра финансов, в конце своей карьеры отвергавшего пользу и тормозившего постройку железных дорог в России на том основании, что шестимесячная санная дорога вполне достаточна для развития внутренней торговли и промышленности, летом же существуют для этого моря и реки. Положим, что говорил он так уже одряхлевший и до крайности утомленный своею предыдущей деятельностью, когда постройка железных дорог, требовавшая громадных заграничных займов, могла поколебать блестящее, созданное им финансовое положение России. Этого он не хотел и отстранился, сохраняя за собой славу выдающегося министра

финансов. Никто не отнимает у него этой славы; но еще вопрос, он ли один создал блестящее положение финансов в царствование императора Николая Павловича, или ему помогли особенные экономические условия России и Европы того времени. Сорокалетний мир Европы значительно увеличил ее народонаселение, а быстрое развитие промышленности на Западе сократило там земледелие. Тогда ни Северная, ни Южная Америка, ни Индия, ни Египет, ни еще менее едва начинавшая заселяться Австралия не доставляли своих продуктов земледелия в Европу, а помещицыя Россия могла отправлять их сколько угодно. Можно ли удивляться после этого, что жители России не знали, куда девать и почему принимать иностранную звонкую монету, что за ассигнации платили лаж от 10 до 15 % и что русский рубль ценился постоянно выше *al pari* на иностранных биржах? Такое состояние финансов продолжалось до начала Крымской войны, то есть еще 10 лет по уходе Канкрин, при министрах вовсе не считавшихся особенно талантливыми; следовательно, и таланты Канкрин не играли в этом успехе особенной роли. Как бы то ни было, Николай Павлович не только ценил Канкрин, но даже в одном отношении, вопреки своим правилам, снисходил к нему: государь, сам строго соблюдая установленную форму одежды, требовал того же от других, а между тем старик Канкрин был всегдашним нарушителем ее.

Отправляясь на прогулку, в большинстве случаев по Зеркальной линии Гостиного Двора (вероятно, во избежание встречи с государем или другими нежелательными лицами), он таким образом облачался в свой военный генеральский костюм: на ногах теплые полуботфорты с кисточками и вложенными в голенища панталонами (в царствование Николая Павловича полуботфорты не употреблялись, это форма времен Александра Павловича), теплая шинель в рукава с поднятым воротником, обвязанным шерстяным шарфом, на голове единственная форменная вещь — треуголка с султаном из белых перьев, а на глазах зеленый шелковый зонтик. Государю с хохотом докладывали о таком военном костюме графа Канкрин. Николай Павлович выговаривал ему, но убедить старика в необходимости соблюдать установленную форму было невозможно. «Ваше Величество не желаете, конечно, чтобы я простудился и слег в постель, кто же тогда будет работать за меня?» — был ответ его. В конце концов государь махнул на него рукой. Он мог, понятно, переименовать его в гражданский чин, но предпочел иметь министром хотя и карикатурного, но военного генерала.

В 1843 году граф Канкрин почти потерял зрение и до того ослаб здоровьем, что принужден был просить об увольнении от

службы. На свое место он рекомендовал тайного советника Вронченко. Государь согласился, так как у него не было в виду другого лица, способного занять трудную и ответственную должность министра финансов. Вронченко был всегда деятельным и исполнительным чиновником, те же качества проявил он и в новом звании, продолжая дело и способ управления министерством своего учителя и благодетеля графа Канкрин и не выказывая со своей стороны никаких особенных талантов. Он не был красив ни лицом, ни фигурой, но донельзя циничен. О его неумении держать себя в обществе, несоблюдении обычных приличий даже со старшими из своих подчиненных и о ночных похождениях на Невском проспекте говорили тогда в каждом петербургском доме; но, как природный малоросс, он был очень хитер и скоро успел войти в доверие и добиться расположения к себе Николая Павловича. Вот один из случаев, происшедших на приеме государем министров с докладами. Доклады производились министрами по старшинству. Вронченко был самым младшим между собравшимися в приемной перед кабинетом государя и знал, что ему придется докладывать после всех, но тем не менее он, как всегда, явился заблаговременно, что и дало повод находившимся тут генералам, и в особенности князю Меншикову, подтрунивать над ним, что он явился с докладом прямо с ночной прогулки. Все, конечно, засмеялись. В это время государь, отпустив докладывавшего князя Волконского, показался в дверях кабинета с вопросом: что за шум?.. При этом вопросе Вронченко со страху или показывая только вид, что испугался, уронил из рук портфель, содержимое которого, состоявшее из докладных бумаг, разлетелось по полу. Общий хохот собравшихся раздался вновь. Николай Павлович обвел смеявшихся своими большими навывкате глазами и громко произнес: «Тут нет ничего смешного!..» Вронченко тем временем собрал при помощи камер-лакея свои бумаги, и когда опустил их снова в портфель, государь, показывая на свой кабинет, сказал ему: «Пожалуйте, я приму вас». Вот как Николай Павлович, не скрываясь ни перед кем, любил отличать тех, кто его боялся. В первый из наградных дней за тем Вронченко получил звезду и ленту Александра Невского, а вскоре после того — графское достоинство.

Государственный канцлер граф Нессельроде — единственный из министров, остававшихся на посту в течение всего царствования императора Николая I, начавший править Министерством иностранных дел при Александре I и кончивший свою карьеру при Александре II. Это одно доказывает, что он был на высоте своего призвания, но тем не менее он далеко не

пользовался такими милостями Николая Павловича, как Чернышев и Волконский: с 1828 года вице-канцлер, он едва добился канцлерства уже стариком.

Еще меньшими успехами по службе могли похвалиться два других гражданских министра, графы Уваров и Панин. Менее всего Николай Павлович занимался их делами, но зато урезывал бюджеты их министерств до минимума и ничем не отличал самих министров.

Управлявший Морским министерством светлейший князь Меншиков славился своими находчивостью и остроумием и был не только любим Николаем Павловичем, но пользовался даже расположением всего его семейства, в кругу которого был частым и желанным гостем. Тем не менее это был один из самых неудачнейших деятелей в числе приближенных к государю лиц. Самое назначение его, кавалерийского генерала, на пост морского министра не обещало удачи, но судьба послала ему замечательного помощника на Черном море в лице адмирала Лазарева, создавшего прославившийся впоследствии под Синопом и на Севастопольских бастионах Черноморский флот, а на Балтийском море распоряжался всем сам государь. Лишенный Александром I генерал-адъютантства, он получил его вновь по воцарении Николая Павловича. Неудачно действовал он с сухого пути в 1828 году под Анапой, павшей только при содействии адмирала Грейга с моря еще неудачнее кончилось его посольство, перед Крымской войной, в Константинополь, где выкинутый им фарс входа в диван (турецкий совет министров) в шляпе возмутил всех; но самым неудачным было его командование крымской армией, ознаменовавшееся допущением высадки неприятеля в Евпатории, проигранными сражениями при Альме, на Бельбеке и под Инкерманом и прямо трусливым бездействием во время зимы, когда англичане и французы, непривычные к климату, мерзли в своих палатках.

Главный управляющий путями сообщения и публичных зданий граф Толь был образованный и очень даровитый офицер генерального штаба, что и доказал своим планом взятия Варшавы — планом, которым воспользовался вновь прибывший главнокомандующий армией граф Паскевич. Начальнику штаба армии графу Толю ничего не оставалось более, как распрощаться с последней и принять предложенный пост главного управляющего путями сообщения. Хотя и не получивший специального инженерного образования, граф Толь был вполне на своем месте. Железных дорог тогда не существовало еще в России, кроме небольшой частной от Петербурга до Павловска, за постройку же шоссейных и особенно водяных сообщений, по

примеру своего предшественника герцога Александра Виртембергского, он принялся в начале своего управления с большим усердием. К сожалению, Николай Павлович почему-то не благоволил к нему: его бюджет подвергался часто большим урезкам, и это охладило рвение его. В последние годы своего управления он даже редко показывался при дворе и, ссылаясь на свое болезненное состояние, пересылал доклад государю через Первое отделение собственной Его Величества канцелярии.

Совсем в ином роде был сменивший графа Толя граф П. А. Клейнмихель. Точно так же, как и первый, не инженер, он отдался поверхностному наблюдению за постройкой только что утвержденной Санкт-Петербургской — Московской железной дороги, не обращая почти никакого внимания на прочие сухопутные и водяные сообщения. Шоссейные дороги строились лишь небольшими участками в западном крае, преимущественно со стратегической целью, а водяные сообщения были совсем запущены. Между тем граф Клейнмихель пользовался исключительным доверием к себе Николая Павловича, имел в своем распоряжении громадные суммы и при своем бескорыстии (как теперь установлено) мог бы покрыть Россию столь необходимыми ей искусственными путями сообщений. Будь он не строгим и исполнительным только военным генералом, а настоящим министром-инженером, то на те суммы, которых стоила Николаевская железная дорога, было бы возможно довести ее не до Москвы, а до Черного и Азовского морей. Но этого сделано не было; коалиция европейских держав этим воспользовалась, напав на Крымский полуостров, и первым по окончании войны пострадал граф Клейнмихель: он был уволен с должности министра путей сообщения за дурное состояние дорог в южной части России.

Главный начальник над почтовым департаментом граф В. Ф. Адлерберг был тоже любимцем Николая Павловича. Самое название должности показывает, что в департаменте, то есть в управлении почтовым, был еще другой ближайший начальник (в сороковых годах — Прокопович-Антонский); следовательно, роль графа Адлерберга была лишь наблюдательная, да и не могла быть иной, так как он, постоянно вращаясь в придворном кругу, менее всего мог быть специалистом по почтовой части. Во время его управления почтовое ведомство приносило большие убытки казне; дефицит доходил почти до 10 млн. рублей. Дефицит стал уменьшаться с понижением почтовой таксы за письма и посылки и с постепенным проведением железных дорог, повлекшим за собой уничтожение почтовых станций, а с ними и крупные приплаты за содержание почтовых лошадей. Но это не относится

к царствованию императора Николая I; он мог только досадовать, что почтовый дефицит не уменьшался. После смерти князя Волконского граф Адлерберг был сделан министром Императорского двора с сохранением и прежней должности по почтовому ведомству. Это была большая милость, представлявшая графу Адлербергу содержание двух министров, но о наградах, вроде выпавших на долю князя Волконского, не было и речи.

Из списка министров начала сороковых годов видно, что все носили по меньшей мере графский титул; у кого его не было, тот его скоро получал просто как очередную награду между двумя звездами; по крайней мере таким образом получили графство Вронченко, Перовский, Клейнмихель (во время бытности еще дежурным генералом главного штаба) и много других лиц, преимущественно из числа военных, командовавших отдельными воинскими частями (Ридигер, Никитин и др.). Но если император Николай Павлович давал относительно легко графское достоинство известным и приближенным к нему лицам, то титулом князя, и особенно светлейшего, он, очевидно, награждал или желал награждать только за особенные государственные заслуги, и на этом основании такой награды не удостоивались даже заведомые его любимцы. Достойны ли были особенно высоких наград князья Волконский, Чернышев и даже Паскевич (получивший за персидскую кампанию и взятие по чужому плану Варшавы почти все то, что имел бессмертный Суворов за свою сотню одержанных побед и беспримерный переход через Альпы), судить не нам. На это была воля самодержавного монарха, строго наказывавшего провинившихся перед ним, но и щедро награждавшего признанных им достойными награды.

С годами Николай Павлович стал еще усиленнее заниматься государственными делами почти единолично и требовал от своих министров не самостоятельных действий, а лишь исполнения его предначертаний и приказаний. При таких условиях не могло быть выдающихся по своей инициативе министров.

«Из записок и воспоминаний современника».
Русский архив, 1902, март.

Глава III

Администрация

Высшее управление петербургской столицы при императоре Николае находилось весьма долгое время в руках такого человека, которого менее всего можно было признать к тому способным. Я говорю о военном генерал-губернаторе графе Петре Кирилловиче Эссене.

...Этот человек, без знания, без энергии, почти без смысла, упрямый лишь по внушениям, состоял неограниченно в руках своего, привезенного им с собой из Оренбурга, правителя канцелярии Оводова, человека не без ума и не без образования, но холодного мошенника, у которого все было на откуп и которого дурная слава гремела по целому Петербургу. Эссен лично ничего не делал, не от недостатка усердия, а за совершенным неумением, даже не читал никаких бумаг, а если и читал, то ничего в них не понимал; Оводов же, избалованный долговременной безответственностью, давал движение только тому, что входило в его интересы и расчеты. Приносить просьбы или жалобы военному генерал-губернатору по таким делам, по которым его правитель канцелярии не был особо заинтересован, ни к чему не вело, и в таком случае можно было ходить и переписываться целые годы совершенно понапрасну. Зато едва ли и встречался где-нибудь в высшем нашем управлении человек с такой отрицательной популярностью, какую приобрел Эссен, сделавшийся постепенно метой общего презрения и явных насмешек, выражавшихся иногда — разумеется, иносказательно — даже и в печати. Все это, однако, относясь более к распорядку внутреннему или, так сказать, бумажному, оставалось, по-видимому, сокрытым от государя, который, в отношении к внешнему порядку столицы, входил сам во все и, при острой внимательности своей, представлял своим лицом истинного высшего начальника петербургской столицы.

...Внутренние действия петербургской полиции, известные дотоле лишь их жертвам, начали подвергаться более строгому контролю и обследованию только со времени вступления в управление Министерством внутренних дел Перовского. Обреживовав лично управу благочиния, новый министр удостоверился в невероятных в ней беспорядках и злоупотреблениях и написал очень строгую по этому поводу бумагу обер-полицмейстеру Кокошкину. Потом он обратился к самому Эссену и, ссылаясь на дурную репутацию Оводова, изъяснил, сколько необходимо было бы, для отвращения дальнейших нареканий, удалить последнего от должности.

Наконец, по докладу Перовского об оставлении без ответа со стороны военного генерал-губернатора семнадцати, по одному и тому же делу, отношений министерства государь в июне 1842 года приказал сделать Эссену строгий выговор, а Оводова посадить на гауптвахту на три дня, из числа которых он просидел, впрочем, только один, ибо на следующий день праздновалось рождение императрицы (1 июля), что послужило поводом его выпустить. Дело стало проясняться. Вскоре на образ управления столицы должен был пролиться, по крайней мере в отношении одной его части, судебной, новый еще, всех ужаснувший свет.

По замеченному в обоих департаментах Санкт-Петербургского надворного суда чрезвычайному, от собственной их вины, накоплению дел в 1837 году признано было за нужное определить в сии департаменты новой комплект членов и секретарей, а из прежних учредить два временных департамента, 3-й и 4-й, на таком основании, чтобы они окончили все старые дела в течение двух лет, если же сего не исполнять, то продолжали бы свои занятия до совершенного окончания тех дел без жалованья.

Двухлетний срок истек в апреле 1839 года, и хотя, по оставлении затем членов и секретарей 3-го и 4-го департаментов при прежних их должностях без окладов, надлежало ожидать, что дела будут скорее окончены, однако вышло совершенно противное. В 1840 и 1841 годах оба департамента были обревизованы вновь назначенным в Петербург гражданским губернатором Шереметьевым и одним из высших чиновников Министерства юстиции, и ревизия их, внесенная графом Паниным в конце 1842 года в Государственный совет, представила такую картину, которую достаточно будет изобразить здесь в одних следующих, главнейших и наиболее разительных чертах ее.

В 3-м департаменте оказалось нерешенных дел 375, а неисполненных решений и указов — более 1500. Из числа трех присутствовавших судья, по старости лет и слабому здоровью, занимался чрезвычайно мало, один заседатель умер, а другой постоянно рапортовался больным и почти никогда не бывал в суде. Из числа двух секретарей один также умер, а другой, видя себя обреченным служить неизвестное время без жалованья и не находя никаких средств к пропитанию большой семьи, упал духом и при том решительно не мог ничего делать — как от бездействия и недостатка членов, так и от неповиновения канцелярии, которой безнравственность, по выражению ревизоров, превзошла всякое вероятие.

В 4-м департаменте нерешенных дел оставалось до 600, а счета неисполненным решениям и указам никто не знал: проверить же их число не было возможности, потому что все реестры, книги и прочее находились в совершенном расстройстве. Секретарей не было совсем, и должность их правил вытчкики; нравственность канцелярии была едва ли лучше, чем в 3-м департаменте, члены хотя и находились налицо, но ревизоры замечали, что они «нимало не стесняются обязанностей служить без жалованья и готовы оставаться в сем положении еще на весьма долгое время». В обоих департаментах несколько двигались те дела, по которым просители имели ежедневное и настоятельное хождение, прочие же лежали без всякого производства и разбора вокруг канцелярских столов. В делах конкурсных публикации делались вместо того же самого дня, когда признана была несостоятельность, через несколько после того лет, а между тем департаменты распоряжались имуществом должника по своему производству и с таким же произволом делили деньги между кредиторами, так что некоторые успели исходатайствовать себе полное удовлетворение, тогда как другие, при тех же самых правах, не получали ничего. Денежная отчетность была в таком порядке, что о находившейся в суде частной сумме до 650 000 рублей потерян был всякий след, *кому именно она принадлежала*, и вследствие того, что ее хранили под названием суммы «неизвестных лиц»! Наконец, за все эти действия члены 3-го департамента были преданы суду три, а члены 4-го — двадцать четыре раза!

Картина эта, здесь только очерченная, была тем ужаснее, что место действия происходило в столице, в центре управления, почти окно в окно с царским кабинетом, и еще в энергическое правление Николая; и после взгляда на нее, конечно, уже трудно было согласиться с теми, которые находили явившиеся незадолго перед тем «Мертвые души» Гоголя одной лишь преувеличенной карикатурой. Сколько долговременный опыт ни закалил престарелых членов Государственного совета против всевозможных административных ужасов, однако и они при докладе этого печального дела, были сильно взволнованы и, так сказать, вне себя. Что же должна была ощущать тут юная, менее еще ознакомленная с человеческими мерзостями душа цесаревича-наследника! Слушая наш доклад с напряженным вниманием, он беспрестанно менялся в лице... Общее негодование увеличивалось еще тем, что виновные, за все грехи их до 16 апреля 1841 года, покрывались щитом милостивого манифеста и кара закона могла коснуться их только за позднейшие их действия.

Граф Панин, доводя о всем вышеизложенном до сведения Совета, предлагал: 1) 3-й и 4-й департаменты соединить в одно присутствие, наименовав его временным надворным судом (он мотивировал это тем, что в одно присутствие легче приискать людей, чем в два); 2) членов их и секретарей уволить от службы, с преданием, за все их действия после манифеста, суду; 3) увеличить штат, а назначение новых членов и секретарей предоставить губернатору; 4) канцелярию составить из прежних чиновников (чтобы не вверить дела лицам новым, вовсе с ними не знакомым), уполномочив губернатора увольнять от службы тех из них, которых новые члены найдут неспособными или неблагонадежными; 5) временному суду о ходе своих занятий доставлять месячные ведомости в министерство и в губернское правление; 6) для окончания всех дел назначить ему трехгодичный срок, и если поручение сие окончено будет с успехом, то поместить чиновников в свое время к другим соответственным должностям и представить об их награде.

Департамент законов принял эти меры безусловно, а общее собрание Государственного совета прибавило к ним только: чтобы министр юстиции, во-первых, удостоверясь, были ли со стороны губернского правления и губернского прокурора употребляемы должные настояния к прекращению описанных беспорядков и, в случае безуспешности таких настояний, ограждали ли они себя от ответственности надлежащими донесениями по начальству, довел об открывшемся до сведения Совета и, во-вторых, сообразил, не нужно ли принять особенных мер для ближайшего надзора за действиями нового суда, определением ли к губернскому прокурору особого товарища или иначе. Во все время происходивших об этом суждений наш простодушный военный генерал-губернатор, по обыкновению своему, совершенно безмолвствовал, но это никого не удивило. Что мог сказать старик, всякий день и отовсюду обманываемый, менее знавший о своем управлении, чем многие посторонние, никогда не помышлявший о мерах исправления и, может быть, тут лишь впервые услышавший об этих ужасах? Уже только после заседания, когда большая часть членов разъехалась, он заметил мне наедине, «что мог бы сказать многое, да не хотел напрасно тратить слов, что и во всех других здешних судах такие же беспорядки, что главная причина — недостаток чиновников, которые не являются даже по вызовам через газеты, и что в управе благочиния, может стать, еще хуже».

Между тем журнал был написан мною со всем жаром того справедливого негодования, которое выразилось между членами, и я с горестным любопытством ожидал, когда и как сойдет

память от государя, скорбя вперед о впечатлении, которое она произведет на его сердце. Действительно, посвятить всю жизнь, все помыслы, всю энергию мощной души на благо державы и на искоренение злоупотреблений, неуклонно стремиться к тому в продолжение 17-ти лет, утешаться мыслью, что достигнут хотя бы какой-нибудь успех, и вдруг — вместо плода всех этих попечений, усилий, целой жизни жертв и забот — увидеть себя перед такой зияющей бездной всевозможных мерзостей — бездной, открывающейся не сегодня, не вчера, а образовавшейся постепенно, через многие годы, неведомо ему, перед самым его дворцом, — тут было от чего упасть рукам, лишиться всякой бодрости, всякого рвения, даже впасть в человеконенавидение... Это глубокое сокрушение и выразилось, хотя кратко, но со всем негодованием обманутых чаяний, в собственноручной резолюции, с которой возвратилась наша память.

«Неслыханный срам! — написал государь. — Беспечность ближнего начальства неимоверна и ничем не извинительна, мне стыдно и прискорбно, что подобный беспорядок существовать мог почти под глазами моими и мне оставаться неизвестным».

Сверх того, в проекте указа, где говорилось (пункт 3-й), чтобы прежних членов и секретарей «уволить» от службы, государь заменил это слово: «отставить». За всем тем, при характере государя, мне казалось, что эта резолюция — как-то без конца, то есть без полного результата или развязки, и что за нею должно последовать еще что-нибудь другое, независимо от окончания дела по Совету. Так действительно и было. Государь, получив советскую память 2 декабря и прочитав ее вечером, в ту же минуту послал за военным министром князем Чернышевым и велел ему внести в приказ об увольнении графа Эссена от должности. Все это сделано было еще в тот же вечер, 2-го числа, так что когда память дошла до меня на следующий день, Эссен был уже все милостивейше уволен от должности военного генерал-губернатора, с оставлением только членом Государственного совета; причем не употребили даже обыкновенных смягчительных выражений: «по просьбе», или «по болезни». Гнев государя был очень понятен, как равно и то, что он обрушился собственно на Эссена. Шереметьев состоял губернатором всего только еще второй год, и по его именно ревизии и были открыты все эти ужасы, главные виновники, члены и секретари, без того уже отставлялись и предавались суду, а степень ответственности губернского прокурора могла определиться только через предназначавшееся Государственным советом исследование. Государь говорил многим, что винит не Эссена, а себя за то, что он так долго мог его терпеть и оставлять

на таком важном посту. Бывший военный генерал-губернатор после увольнения своего являлся во дворец два раза, но был допущен только во второй.

— Я ничего не имею против тебя лично, — сказал государь, — но ты был ужасно окружен.

Между тем 6-го числа, в день своего тезоименитства, государь, добрый и в самой строгости и всегда признательный к долговременной, не омраченной никакими произвольными винами службе — глупость и бездарность не от нас зависят, — утешил бедного старика пожалованием ему, при милостивом рескрипте, своего шифра на эполеты и оставлением при нем всего прежнего содержания, то есть по 6000 рублей в год.

Рассказывая мне сам обо всем этом 6-го числа во дворце, Эссен заключил так:

— Признаюсь, что милость царская искренно меня порадовала, сняв тот срам, которым я был покрыт перед публикой. И скажите, ради Бога, зачем все это обрушилось на меня одного, когда есть и губернское правление, и губернский прокурор, и министр юстиции? При моей аудиенции я объяснил мою невинность и вместе трудность, в которой находился, действовать без чиновников, которых, как я вам сказывал, нельзя было дозваться даже через газеты. Вероятно, государь нашел мои доводы достаточными, потому что восстановил теперь опять мою честь. Но представьте, какие есть злые люди в свете: государю донесли, что когда это дело слушалось в Совете, то я ничего не говорил. «Видно, — сказал он мне, — ты ничего не нашел к своему оправданию, потому что смолчал в Совете». А ведь вы сами вспомните, что я говорил с вами после заседания, Совету же что же мне было еще объяснять, когда я сам обо всем представил министру юстиции и он лично тут находился? Впрочем, слава Богу, что моя должность перешла к доброму и честному человеку (генерал-адъютанту Кавелину), настоящему христианину, а мне уже и так жить недолго.

Невозможно передать на бумаге того простодушного тона, с которым все это было сказано, но разговор был неподобен своей наивностью.

— Теперь, — прибавил Эссен, — на свободе я могу прилежнее читать ваши советские записки, к чему до сих пор у меня не доставало времени.

Я советовал ему не приезжать на следующий день в Совет, где должна была объявляться резолюция государева. Он, однако ж, не согласился:

— Как же мне это сделать? Ведь можно бы только под предлогом болезни, если же сказать больным, то нельзя

приехать и на дворцовый бал вечером, — (он был назначен, вместо 6-го числа, 7-го), — а тут, пожалуй, подумают, что я обижаюсь.

На балу 7 декабря, куда Эссен не преминул явиться, и императрица, и супруга наследника-цесаревича, и все великие княжны ходили с ним польское, а государь, в виду всех, почтил его продолжительной и милостивой беседой.

Этим окончилась судьба графа Эссена, вскоре после того (в 1844 г.) умершего; и как бы для сохранения послужному его списку, до самого конца, вида фантазмагорического призрака, столь противоположного действительности, надо же было, чтобы он заключился милостивым рескриптом и важной наградой (шифр на эполеты) в ту самую минуту, когда героя его удаляли от места по признанию неспособным.

Из записок барона М. А. Корфа.

Русская старина, 1899, октябрь.

Власть в провинции

Еще за два года до прибытия покойного государя Николая Павловича в Казань (в 1836 г.) было известно, что он намерен посетить этот город. И город, и губернии стали готовиться к приему. Все зашевелилось. Народ был в радостном настроении, власти же несколько трусили. А как будет ревизия? Как бы не обнаружилось что-нибудь? За несколько лет до этого два сенатора, граф Санти и Кушников, ревизовали Казанскую губернию, и все чиновники были отданы под суд. Дело тянулось в течение восьми лет, и чиновники получали половинное жалованье, но когда невинность их была обнаружена, то за все восемь лет выдана была им оставшая половина.

Губернатором в Казани был в то время генерал-лейтенант Стрекалов — администратор из самых обыкновенных, не злой, но нельзя сказать, чтобы и особенно добрый. Это был сибарит, старавшийся пожить в свое удовольствие. Положение его было блестящее. Начальник губернии, человек со связями, с обеспеченным состоянием, да еще получающий, кроме того, огромное по тому времени жалованье. Какого еще житья надо? Скажут: заботы огромные — целая губерния на плечах, надобно иметь гигантские умственные силы, чтобы нести это бремя. Ничуть не бывало. Начальнику губернии не для чего было не только работать, но даже и думать. Административная машина того времени была так отлично налажена, что управляющему краем было чрезвычайно легко. Петербург поважнее Казани, да и то в старые годы градоправители его не находили никаких затруднений в исполнении своих многосложных обязанностей.

— Это кто ко мне пишет? — спросит, бывало, петербургский губернатор Эссен, когда правитель канцелярии подаст ему бумагу.

— Это вы пишете.

— А, это я пишу. О чем?

Узнав, о чем он пишет, государственный муж подписывает бумагу.

Бывали администраторы более беспокойные, как, например, ереванский губернатор князь Андроников. Этот все сомневался, не обманывает ли его правитель канцелярии, и придумал способ, посредством которого удостоверился, что его не обманывают.

— Скажи правду, это верно? — спрашивал он правителя канцелярии, подносявшего ему бумаги к подписанию.

— Верно, ваше превосходительство.

— Взгляни на образ, побожись!

Тот взглянет на образ, побожится; князь Андроников перекрестится и подпишет.

Главная задача губернатора состояла в том, чтобы бумаги, присылаемые из министерства, не лежали долго без ответа. Такой политики строго держался знаменитый казанский губернатор Скарятин, столь счастливо воевавший с татарами в последнее время. Эта манера практиковалась весьма многими деятелями, были бы бумаги скоро исполнены, а до людей и подвластных им дела нет.

Подписать более ста бумаг в день хотя и не особенно трудно, но все-таки человек утомляется, надобно отдохнуть.

Чем заняться? — женщинами.

Стрекалов неуклонно держался этого правила. Будучи уже стар и лыс, он старался нравиться женщинам: румянился, носил парик, устроенный с таким искусством, что трудно было отличить его от настоящих волос, но в особенности его молодил блеск власти, он заменял ему румянец юности. Его победы обходились ему дешево. Родственников женщин, удостоившихся его благоволения, он награждал тепленькими местечками исправников. По делам он, правда, взятки не брал, но с откупщиков получал ежегодную дань. Это считали в то время доходом безгрешным. За несколько десятков тысяч рублей Стрекалов предоставлял откупщикам — а их в губернии было несколько — грабить обывателей, как им хотелось. Раз, в самом губернском городе Казани, откупщику вздумалось делать в каждом доме осмотр погребов, не приготовляет ли кто пива для домашнего употребления, и не только за найденное пиво, но даже за густой квас откуп взыскивал штраф с хозяина дома. Слишком густой квас доказывает намерение приготовить пиво. Штраф взимался за вредные мысли против откупа. В течение двух слишком месяцев производился, при содействии полицейских властей, осмотр кладовых и погребов жителей Казани, по преимуществу купцов, мещан, мелких чиновников и духовных лиц. Изменнически преданный откупщику город заплатил страшную контрибуцию питейному баскаку. Ропот был страшный, но на это не было обращено ни малейшего внимания. Грабеж прекратился неожиданно по особенному случаю. Поверенный откупа, в сопровождении квартального надзирателя, явился, между прочим, к священнику Варламиевского прихода. «Так и так, — говорит, — позвольте осмотреть ваш погреб». Священник повел их в погреб, и когда они вошли внутрь, он запер их там и отправился доложить об этом бывшему в то время архиепископу Владимиру. Прodelка священника над служителями откупа показала владыке очень остроумной. Он успокоил священника,

но велел их выпустить из заключения. На другой день невинные узники явились к преосвященному с жалобой, но владыка принял их сурово.

— Как смели вы прийти в дом священника, — спрашивал преосвященный, — вы грабите народ, вы отнимаете у бедняка последнее удовольствие, вон, негодяи!

После такого мужественного отпора откуп должен был отступить, и не только духовные лица, но и прочие жители оставлены были в покое.

А что делалось в губернии? Она походила на озеро, в глубине которого крупные рыбы поедали мелких, на поверхности уже его было тихо, и оно блистало, гладкое, как зеркало.

Хотя обличители являлись и в то время, но им крайне не везло. Один из таких обличителей в Казани был чиновник Кудрявцев. Он имел порядочное состояние, был уже в отставке и писал разные жалобы на управление, в полной уверенности, что он неуязвим. Стрекалов его предупреждал.

— Эй! — говорил он Кудрявцеву, — перестань ябедничать — худо будет.

В то время каждая, хотя и справедливая, жалоба считалась ябедой.

Но тот не унимался. И вот в одно утро Стрекалов призывает Кудрявцева к себе. Тот является.

— А я, брат, тебе приятную весточку скажу, — говорит ему Стрекалов.

— Какую, ваше превосходительство? — заинтересовался Кудрявцев.

— А тебе предстоит веселая поездка в Уфу, и как ты славно прокатись! Погода такая отличная.

— Зачем?

— Да чтоб тебе спокойнее там было. Ты все недоволен, то не так, да это не по тебе. Там тебе уже не на что жаловаться будет. Все еще, я вижу, не понял? Там ябедничать не посмеешь, там ты будешь под надзором полиции.

Пять лет пробыл Кудрявцев в Уфе и наконец взмолился Стрекалову. Тот, усмотрев нравственное исправление Кудрявцева, смиловался и выхлопотал ему возвращение на родину.

С тех пор Кудрявцев стал шелковый, об обличении не смел и думать.

Были и другие вольнодумцы: Аноров и Перов, но Перову выпала такая же доля, как и Кудрявцеву. Аноров тоже скоро замолчал. Этот писал довольно колкие статейки в казанский журнал «Заволжский муравей». Хотя фамилий он не выставлял, но некоторые себя узнавали и жаловались Стрекалову на

печальную обиду.

Ссылка под надзор полиции за произнесение правды в то время практиковалась очень часто. И не так давно один могущественный администратор, недовольный местной газетой, осмелившейся иметь независимый взгляд, призвал к себе ее редактора и произнес ему следующую речь:

— Послушайте, я не имею права закрыть вашу газету, но я могу сослать вас под надзор полиции, выбирайте любое: или закройте вашу газету, или отправляйтесь в отдаленный край на жительство.

Разумеется, издание прекратилось.

Да и что могли сделать в то время мелкие частные лица без связей, без значения против целого корпуса взяточников, правда пустых, ничтожных, необразованных людей, но сильных единством, одушевленных одним общим стремлением к грабежу, крепко сплотившихся для защиты друг друга. Был в то время в Казани человек посильнее этих крошечных обличителей и занимавший важный пост в губернии, по долгу службы обязанный вести борьбу с врагами закона, который он поставлен был охранять. По своим дарованиям и знанию дела он неизмеримо был выше всех губернских сановников, резко выделяясь из всей казанской чиновной шушеры. Это был казанский прокурор Солнцев.

До назначения в должность прокурора Солнцев был ректором Казанского университета и профессором юридического факультета, но за либеральные мнения был вытеснен бывшим попечителем Магницким. Между юридическими профессорами того времени он был светилом.

...Сколько несправедливостей, сколько злодейств совершалось на его глазах, и он был безгласен. Повальное ограбление жителей Казани местным откупщиком, о котором я выше уже говорил, совершалось при нем. При нем полицмейстер Поль свирепствовал в Казани в течение нескольких лет.

Много я на своем веку видал чиновных извергов, но равного Полю не встречал. Не говорю уже об алчности его к деньгам. Это была общая для всех слабость в ту пору. Поль делал зло из одного удовольствия делать его, не имея от этого никакой выгоды. Закон и право для этого человека не существовали. Казанский Поль был едва ли не почище римского Катилины, только в другом роде. Оставляю в стороне его злоупотребления по должности. У него была неудержимая страсть к телесным наказаниям, и он истязал людей совершенно невинных. Полицейским чинам стоило взять совершенно не причастного ни к какому проступку человека и донести на другой день полицмейстеру, что взятый был задержан

за пьянство и буйство. Поль без всякой проверки донесения тотчас же приказывал его при себе растянуть и высечь. Этой участи подвергались не только простолюдины, но даже и мелкие чиновники. Жалобы были бесполезны, на следствии ни один полицейский, конечно, не осмелился бы дать показания против полицмейстера. Раз Поль едва было не засек одного портного по жалобе его хозяина за то, что тот отказывался просиживать за работой ночи напролет, тогда как и без того работал усердно в день часов по 15-ти. Солнцев не мог не знать об этих злодействах, когда весь город знал о них. Но местный Цицерон безмолвствовал. Он был один, а Катилин было много. Борьба с ними кончилась бы для него лишением места, а он был человек без состояния.

В Казани народ ждал государя с раннего утра. Помню, это было в августе месяце. Погода стояла превосходная. Огромная толпа наполняла Воскресенскую улицу, на которой находилась квартира для государя в губернаторском доме. Я стоял у самого подъезда. Вдруг подъезжает к дому коляска, и в ней сидит какой-то красавец генерал рядом с губернатором. Никто в толпе и не думал, чтобы это был сам государь. На вид ему казалось не более 35 лет.

— Здравствуйте, — сказал он звучным голосом, вышел из коляски и быстрыми шагами прошел во внутренность дома.

Тут только догадался народ и радостно хлынул за государем к крыльцу. Но толпу остановил высокий, толстый офицер с седыми усами.

— Стой! Кто осмелится дальше ступить, тот в Сибирь пойдет, — сказал он, впрочем, негромким сиплым голосом, с ядовитой усмешкой.

Пожалуй, трудно поверить, чтоб кто-нибудь осмелился сказать такую дерзость в глаза народу в нескольких шагах от самого государя, но, клянусь, ясно слышал эти слова; я стоял вместе с толпой у самого крыльца, возле этого блестящего оратора. Офицер, сказавший эту знаменитую речь, был майор Герман, поляк, состоявший при губернаторе Стрекалове чиновником особых поручений, маленький Конрад Валленрод, известный пьяница и буйан. На него часто Поступали жалобы; он находил несовместным со своим достоинством платить за работу портным, сапожникам, часовщикам и выпроваживал их чубуком, когда они являлись к нему за деньгами. Стрекалов не обращал на эти жалобы внимания и держал Германа за то, что он был светский человек и говорил на нескольких иностранных языках, как на своем родном.

Через несколько времени явились к государю все губернские

власти, в том числе и прокурор Солнцев, и местное дворянство.

Когда представлен был ему Солнцев, государь сказал:

— Вот что, Солнцев, я слышал, что ты пьешь, а между тем ты человек способный и знающий. Поэтому я даю тебе полгода на исправление. Если же в течение этого времени ты не справишься, то ты не можешь быть более на службе.

«Казанская старина» (из воспоминаний И. И. Михайлова).

Русская старина, 1899, октябрь.

Губернатор николаевского времени

Панчулидзева был в Пензе губернатором 28 лет и воспитал целое поколение чиновников, которые считали его чуть не Богом — не честности, конечно, но власти и силы. Этим он обязан был умению держать себя необыкновенно высоко, так что одному из исправников, приехавшему из уезда, встретившему его где-то в доме и сказавшему ему:

— Я имел удовольствие быть у вашего превосходительства, — он строго заметил:

— Не удовольствие, а честь!

Что делалось в Пензенской губернии во время его губернаторства — это рассказать трудно, пожалуй, даже невероятно. Ежели исправник платил исправно подать, наложенную на него, советнику губернского правления А. (фактотуму губернатора), он мог делать что хотел — в полном значении этого слова. Сколько бы на него ни жаловались, это решительно не привело бы ни к чему, разве только к вящему посрамлению жалующегося. Довольно вам сказать, что чиновником особых поручений, по народной молве, был у него умерший, то есть господин, спасенный от какого-то уголовного преследования тем, что показан умершим, и вследствие этого процветавший под сенью Панчулидзева для производства следствий, требовавших особой деликатности или особого умения и ловкости. На такие же следствия, с которыми особенно церемониться не было надобности, был посылаем советник губернского правления NN., который не затруднялся рассказывать даже и того, сколько он с кого взял, разумеется, когда это было в интимной беседе.

Однажды в Саранске убили сидельца суконной лавки, NN. засадил в острог целые десятки татар не только Пензенской, но даже Тамбовской губернии, Темниковского уезда, и выпускал их по мере того, как они вносили за себя выкуп, кто 1000, а кто и 2000 рублей, сообразно состоянию.

Это правда, что татары эти ежели не участвовали в убийстве сидельца и ограблении его лавки, то во многих других случаях — и убийств, и грабежей — были не неповинны. По словам NN., в одном из больших татарских селений Темниковского уезда он нашел большой сарай, наполненный всевозможными вещами, начиная с шелковых материй и кончая сукнами, сахаром и чаем включительно. Все это было произведение краж и грабежей и хранилось до первого раздела, бывшего один или два раза в год.

Что делалось в то время (1830–1840 гг.), теперь этому трудно

поверить. Становые пристава, исправники были просто на жалованье у воров, особенно конокрадов. Поэтому я был совершенно прав, говоря в одной из статей моих, «Конокрадство в России», что для уничтожения или уменьшения конокрадства надо прежде всего уничтожить комиссаров, учрежденных собственно для уничтожения конокрадства, так же точно, как надо или уничтожить, или значительно уменьшить лесных чиновников, созданных для сбережения лесов, если действительно хотели сберечь эти леса. Можно ли, например, верить, что один становой пристав (пристава тогда производили следствия), разыскивая украденных лошадей, начал их искать в сундуке у попа и нашел — не лошадей, конечно, но 800 рублей, которые и конфисковал, разумеется, в свою пользу.

Чтобы возвратиться к Панчулидзеву, устроившему чиновничье управление губернии на свой лад, надо сказать, что там шло все как по маслу, то есть все было шито и крыто, так что в Петербурге знали только то, что губернатору хотелось, чтоб знали. И зато тем, которые не подчинялись этому порядку безусловно, плохо было.

Чего ни делал он, чтоб уничтожить Тучкова (старшего брата бывшего московского генерал-губернатора), бывшего уездным предводителем, и ежели меня не стер тогда, то единственно потому, что у Пашковых в Москве ему обо мне говорил московский почт-директор Булгаков, бывший приятель моего тестя. Панчулидзева боялся, чтобы через меня не дошло до Петербурга что-нибудь из его проделок. Он, однако, достал меня потом, как читатели это увидят впоследствии, когда страх этот миновался. Я был судьей, как сказано выше, и очень часто правил должность предводителя, потому что настоящий предводитель, Андрей Андреевич Н-в, был страшный трусишка, и всякий раз, когда полученная им откуда-нибудь бумага требовала или затруднительного, или энергического ответа или действия как по должности предводителя, так и по председательству в опеке, он всегда сказывался больным и сдавал должность мне.

Получивши однажды письмо, прямо от министра, с просьбой уведомления об урожае (надо думать, что сведениям от губернаторов перестали уже верить), он, конечно, тотчас сказался больным и сдал должность мне. Надо вам сказать, что урожай в том году (1841-м, кажется) был баснословный. Например, у меня с одной сороковой десятины намолочено было 42 четверти (в 9 мер) ячменя. Чтоб отвечать министру *en connaissance de cause*, я написал четыре письма к более смышленным помещикам в разных уездах уезда и поехал к себе в деревню за такими же сведениями. Когда ответы от этих господ были получены, я прибавил

собственные сведения, вывел из них среднюю цифру и донес министру. Это правда, что цифра вышла довольно большая, что-то кругом по 20-ти или 25-ти четвертей овса с десятины. Не прошло четырех или пяти дней после отправления письма моего к министру, я получил от чиновника особых поручений (мертвого) NN. письмо, в котором, по поручению губернатора, он меня спрашивал, что я думаю отвечать министру. Я отвечал, что послал министру требуемое сведение, и приложил копию с моего отношения к нему. Губернатор взбесился, как я осмелился отвечать министру, не спросившись у него, что надо отвечать. Рассказывали, но я не отвечаю за справедливость этого, что Панчулидзеву хотелось отвечать, что в губернии неурожай, а вследствие этого и просить пособия. А что это пособие, или все, или по крайней мере большая часть, осталось бы у него в кармане — это несомненно. Что я говорю это не наобум, — это я могу подтвердить тем, что, например, деньги из приказа общественного призрения были им выбраны до того, что помещики, заложившие свои имения в приказ, по несколько лет не получали ссуды за неимением денег. Что денег не было, этому было можно охотно поверить, но где они были — это вопрос другой, ответ на который хорошо знали только Панчулидзе да некто NN. непреременный член приказа. Ловкий господин был этот Панчулидзе. Он был любитель музыки, и у него был доморощенный оркестр из крепостных людей, оркестр, надо сказать, очень хороший и большой, — человек в тридцать, ежели не больше. Капельмейстеров выписывал он прямо из-за границы. Так, выписан им был известный Иоганис, впоследствии капельмейстер московского театра, даже женившийся впоследствии на сестре Панчулидзева. Оркестр этот, как говорили, ничего ему не стоил, потому что жалованья музыкантам не производилось, они должны были питаться от чиновников, знающих губернаторскую власть и понимающих, что не надо было возбуждать ее против себя. По всем вероятностям, это лучше всего знали исправники и становые, как прямо подчиненные губернаторской власти надо думать, что знали и предводители дворянства, потому что сам-то я узнал об этом, когда приехал однажды в Пензу по должности предводителя. Вот этот случай.

Судился в уголовной палате какой-то дворянин. Уголовная палата предоставила поступок его суждению предводителей и депутатов, почему они и вызваны были все в Пензу. Мой старик Н-в, по обыкновению, заболел, и я должен был отправиться за него. Это было зимой. Помню, что в Пензу я приехал часов около пяти по-полу-дни; начало смеркаться. Не успел еще я разобраться

с чемоданом, ко мне в номер ввалилась целая толпа людей, объявивших мне, что они губернаторские музыканты. Конечно, чрезвычайно удивленный этим неожиданным визитом, так как я сам не играю ни на каком инструменте, хоть и страстно люблю музыку, чего они, конечно, знать не могли, так как я в Пензе был пришлец, и очень недавний, я спросил их, чего им нужно. Они отвечали: «Поздравляем с приездом». Я заметил им, что я вовсе не такое важное лицо, чтоб требовалось поздравлять меня с приездом, и думал этим отделаться. Тогда один из них объявил мне, что они содержания от губернатора, кроме квартиры, никакого не получают и должны содержать сами себя, почему и просили пожертвовать им что-нибудь. Я дал им три рубля серебром, чем они, как заметно, остались недовольны, привыкнув, вероятно, получать более крупные приношения.

В доказательство того, что Панчулидзе не церемонился с чужими деньгами, только бы они попали ему в карман, я могу рассказать два случая: один, который я видел сам, другой, который слышал.

Был я однажды в Пензе, не помню по какому случаю. Конечно, день, как служащий, я обязан был явиться к губернатору, почему, облекшись в мундир, поехал к нему. Губернаторский дом в Пензе состоит из трех этажей: с нижнем помещалась канцелярия, в среднем этаже были парадные комнаты; наверху — жилые и губернаторский кабинет. В него вел особый ход прямо из прихожей, по большой лестнице. Когда приезжал кто-нибудь для свидания с губернатором, всех провожали в зал, и там должны были они дожидаться до тех пор, пока губернатор или сам сойдет вниз, или потребует к себе наверх. Войдя в зал, я увидел там только одного молодого человека в черном фраке. Мы разговорились, и он мне сказал, что он сын откупщика в Чембарском уезде, кажется, Ненюков по фамилии; на вопрос мой, зачем он приехал к губернатору, он отвечал, что губернатор вытребовал его, вероятно, потому, что они не доплатили ему оброка. Тут он мне поведал, что все откупщики в губернии (12) платят губернатору по две тысячи рублей в год каждый, что тысячу рублей они внесли, а остальную тысячу рублей позамешкались внести, потому что денег в сборе мало, и что он хочет просить отсрочки, ежели вызван для этого. Через несколько времени его позвали в кабинет, наверх. Не прошло четверти часа, как он сбежал ко мне вниз, в зал, с криками: «Это не губернатор, а..!» — причем волосы у него были растрепаны, платье все в беспорядке, рубашка выбилась из жилета, он прерывающимся от волнения голосом рассказал мне, что когда на требование денег он отвечал Панчулидзе, что

денег в сборе нет, и просил его подождать, — произошла сцена, которую хотя Ненюков и передал мне подробно, но я ее здесь опускаю... Я едва его успокоил... Возвратил ли он — не знаю; знаю только, что лет через десять после того, ехавши из Москвы в Петербург, я имел соседом в почтовой карете (железной дороги еще не было) одного господина. Узнавши его фамилию, я вспомнил, что той же самой фамилии был и чембарский откупщик, и рассказал ему виденный мною случай. Оказалось, что он и есть то самое лицо, с которым я тогда встретился у Панчулидзева; ни я не узнал его, ни он меня. Я спросил его, все ли так было, как я ему рассказал, и он подтвердил, что все было точно так, как я рассказываю теперь.

Другой случай.

Видно, до Петербурга дошли наконец слухи о том, что творится в Пензенской губернии, и туда назначена была ревизия в лице сенатора Сафонова. Сафонов приехал туда вечером неожиданно, и когда стемнело, вышел из гостиницы, сел на извозчика и велел себя везти на набережную.

— На какую набережную? — спросил извозчик.

— Как, на какую! — отвечал Сафонов. — Разве у вас их много? Ведь одна только и есть!

— Да никакой нет! — воскликнул извозчик.

Оказалось, что на бумаге набережная строилась уже два года и что на нее истрачено было несколько десятков тысяч рублей, а ее и не начинали. Повторяю опять, я рассказываю здесь слышанное, но за справедливость этого рассказа не ручаюсь. Знаю только положительно, что вследствие сафоновской ревизии Панчулидзев был удален от должности и распубликован сенатом по всей России.

Из записок И. В. Селиванова.

Русская старина, 1880, июнь.

Глава IV

Суд и казни

Правосудие при Николае I

Дела уголовные и гражданские по преимуществу начинались в полиции, зависевшей вполне от губернского начальства, а потом в безобразном, неполном виде передавались в суд для постановления решения. Поступление дел прямо в суд, как следовало бы, обуславливалось весьма немногими случаями. Самого доклада или суждения в суде не было. Исключения из сего были редки. Все зиждилось на секретаре, он и был вершителем дела, он писал журналы, а прочие члены если и являлись в суд, то только для подписи оных. Зауряд журналы для подписи посылались на дом к членам, которые иногда даже и не жили в городах, где были суды, а в уездах. Журналы, смотря по обстоятельствам, впредь до того, пока не были подписаны составляемые на основании оных протоколы, изменялись несколько раз. Сегодня по журналу дело решалось так, а завтра иначе, смотря по тому, куда ветер дул, или чья сторона брала верх, или кто из членов превозмогал других. Самое приготовление дел к докладу, которого в действительности, как выше сказано, не было, обставлено было формами, ни к чему не ведущими и не имеющими разумного смысла. Я говорю о составлении докладных записок, о вызовах к так называемому рукоприкладству и к выслушиванию решения, через публичные ведомости, с назначением на все это весьма продолжительных сроков. Упомянутые записки составлялись без всякого толку. Они почти заключали в себе дословные копии с бумаг, имеющих в деле, то есть прошений, отзывов, объяснений и документов. Записок этих никто, впрочем, и не читал. Тот, кто хотел изучить дело, мог, как делается теперь, читать подлинные бумаги и документы.

Дела длились в судах по многу лет, дополнялись часто ненужными справками, на которые даже не ссылались и не указывали тяжущиеся стороны, и все это делалось через полицию. Сия последняя просто завалена была и своими делами, и требованиями судов до невозможности.

О незамедлительном исполнении указов суда полиция получала многократные понуждения, подтверждения со строгими выговорами как прямо от суда, так и от губернского начальства, посылаемые часто особыми эстафетами и на счет виновных, но от этого дело не двигалось. Не забудем, что на полиции, кроме того, лежали разбор дел по маловажным проступкам и производство формальных следствий по уголовным делам.

Губернаторские чиновники особых поручений вихрем летали

по городам для понуждений то полиции, то суда, подымались и губернаторы, производя строгие ревизии уездных мест, наводя неописанный страх на всех служащих в оных. Дела подновлялись новыми подтверждениями, а более запущенные прятались от взоров то в столах, шкафах, то в архивах в числе решенных, а, наконец, были и такие случаи, как, например, в Курске при ревизии сенатора Дурасова в 1830 году дела одного судебного места оказались потопленными в реке. Сам сенатор, с подлежащими властями в лодках, представляя собой целую флотилию, наблюдал за извлечением дел из царства Нептуна.

Для устранения всех сих беспорядков принимались разные меры, главные из них состояли в требовании ежемесячных то перечневых, то именных ведомостей о состоянии и положении дел. Ведомости сии, обременяя суд громадным новым трудом как в составлении, так и в переписке их набело, ничего не помогали.

Смотря по отметкам в движении по сим ведомостям дел, власти, не исключая и Министерства юстиции, громили строгими подтверждениями и понуждениями, но оказалось на опыте, что затруднение в ходе дел было еще более заметно после сих ведомостей.

Само собой разумеется, что в выговорах, удалении от должности и предании суду лиц, служащих в низших местах, в том числе и судебных, не было недостатка, это было обыкновенное и заурядное явление после каждой ревизии, делаемой в губернии то советником губернского правления, то вице-губернатором, то самим губернатором, то, наконец, сенатором.

Но все это не изменяло положения вещей; беспорядки в уездных судах, не исключая и губернских мест, до того укоренились, что считались нормальным положением их.

Магистраты в городах и ратуши в местечках были еще в худшем положении, чем суды.

Допущение в состав сих судов заседателей из казенных крестьян, кои все поголовно были безграмотны и невежественны, делало в глазах многих суд посмешищем.

Граф В. Н. Панин, будучи министром юстиции, зайдя в суд в Петербурге, встретил там одного человека в исподнем платье, с метлой или щеткой в руках.

На вопрос министра, где судья, он отвечал, что судьи нет, а на вопрос, где заседатель, отвечал: я заседатель.

Граф, взглянув на него, произнес: «Вы... ты...» — и ушел, не сказав ни слова. Действительно, на самом деле лица эти исполняли при судах должности сторожей, истопников и прочие, не соответствующие вовсе обязанностям судей.

Палаты уголовные и гражданские, несмотря на то что представляли собою вторую инстанцию, при сословных выборах, не отличались благоустройством. Надзор со стороны стряпчих в уездах и прокуроров в губерниях также не представлял собой обеспечения.

Заботы их исключительно ограничивались наблюдениями за ходом арестантских дел.

Все это указывало на необходимость в коренном преобразовании судебных места и судопроизводства. Но мысль о сем не вдруг явилась, следовало пройти много других стаций, чтобы достигнуть убеждения о необходимости реформы. Повторяю, что все это не сразу пришло в голову. Нужно было время!

Думали сначала, чтобы водворить правосудие в государстве и порядок в оном, стоит только *сократить переписку* и преобразовать полицию по отношению к судебным местам. Первым делом, по особому высочайшему повелению, занялось Министерство юстиции, а вторым — Министерство внутренних дел.

С целью иметь материалы для первого предмета, Министерство юстиции затребовало подробные сведения и соображения от всех прокуроров, председателей палат и товарищей их, а равно и других лиц о том, в чем именно нужно сократить переписку и по каким предметам.

Циркуляр министра юстиции с таким предписанием полетел по всем местам России. Засим в министерство начали от этих лиц поступать более или менее подробные соображения по этому предмету. Дело разрасталось до громадных размеров. В Министерстве юстиции целые шкафы заняты были бумагами по сему делу; о движении его показывалось, между прочим, и в ведомостях, представляемых ежемесячно государю императору.

О судьбе этого дела расскажу кратко.

Император Николай Павлович в начале 1850 годов, не видя конца дела о сокращении переписки, поручил князю П. П. Гагарину написать без замедления, какие именно нужно сделать сокращения, чтобы умалить вообще переписку по всем присутственным местам, не исключая и Сената.

Во исполнение сего князь П. П. Гагарин, не обратив никакого внимания на означенное дело и заключающиеся в нем более или менее деловые указания в необходимости изменения и судоустройства и судопроизводства, составил весьма быстро разные краткие правила относительно только предположения сокращения переписки, и не более того.

Правила сии в начале 1850 года были обнародованы.

На основании их действительно сокращены разные ведомости и донесения, представляемые то туда, то сюда, из низших мест в высшие, уничтожены некоторые реестры и книги, которые, без существенной пользы, велись в тех местах и Сенате, и сделаны разные указания в порядке отписки — но более ничего.

В результате оказалось, что судопроизводство от сего сокращения нимало не изменилось: бывшее запустение и бестолочь в судах остались прежние.

Улучшение штатов, о коих выше сказано, было предметом особых забот Министерства юстиции. Оно много лет переписывалось с Министерством финансов, вносило записки в государственный совет и наконец достигло того, что штаты его, впрочем в весьма скромных размерах, были действительно увеличены и введены. Но эта мера, с теми сокращениями, которые были придуманы князем П. П. Гагариным, не изменила положения вещей — все оставалось по-прежнему.

Ясно, что нужны были особые обстоятельства и новая какая-либо свежая струя, которая могла бы дать новый оборот делу усовершенствования нашего судоустройства и судопроизводства.

Полиция также по своим уставам, без избавления ее от производства следствий и устранения ее от разбора дел по маловажным поступкам, не изменила своего положения. Она была безобразна донельзя. Одним словом, суд и полиция шли параллельно, блистая, если можно так выразиться, своим неустройством.

О разных курьезах по судейским делам мы расскажем еще впоследствии, а теперь объясним, что все упомянутые мысли не суть слова пишущего эти строки, напротив того, оии были выражены самим приснопамятным императором Николаем Павловичем по следующему случаю.

В 1849 году признано было необходимым произвести сенаторскую ревизию Калужской губернии, для каковой цели назначен был сенатор князь Давыдов, а при нем, в качестве старшего чиновника, определен был я, пишущий эти строки. В числе чиновников, прикомандированных к сенатору, находился и граф Алексей Константинович Толстой, известный по своим сочинениям, и А. К. Жизневский, нынешний председатель тверской казенной палаты — юрист по воспитанию и археолог в душе.

Ревизия эта была вызвана особым случаем. Сын генерал-лейтенанта Ершова, Иван, жаловался государю на то, что будто бы его отец, под влиянием калужского губернатора Смирнова, совершил дарственную запись в пользу своей незаконной дочери Софии, бывшей замужем за Россетом, братом жены Смирнова,

Александры Иосифовны, и тем самым лишил его отцовского наследства. Вот по этому случаю сенатору князю Давыдову велено было произвести следствие, а вместе с тем сделать и ревизию всех правительственных и судебных мест губернии.

Перед отъездом в Калугу князь Давыдов представлялся императору Николаю Павловичу.

— Поезжай, — сказал ему государь. — Знаю наперед, что хорошего ты там мало найдешь. Суды в беспорядке, полиция не лучше. Проекты о ней в Министерстве внутренних дел не двигаются вперед. Дворянские опеки не охраняют сиротские имения, а разоряют. О них я тщетно стараюсь много лет. Но главное, — продолжал государь, — обрати ты внимание на то, почему в Калужской губернии, где некогда, как мне известно, процветали полотняные заводы, снабжавшие своими изделиями даже Америку, пали. Как объяснить это, и нельзя ли это поправить?

Слова эти по окончании аудиенции записаны были сенатором и переданы им потом мне.

Желание государя было исполнено и обстоятельные донесения представлены по окончании ревизии куда следует.

Скажем при этом, что жалоба Ершова не подтвердилась, и за клевету он был передан суду.

В отношении неудовлетворительного состояния судебных мест, полиции и дворянских опеки слова государя по ревизии вполне подтвердились.

...В Калуге, при ревизии сенатора князя Давыдова, во время дворянских выборов обнаружился следующий курьез. Нужно было избрать председателя гражданской палаты, которая по своему положению и накоплению в ней дел, требовала более или менее опытного человека. Многие благомыслящие дворяне, а равно губернатор и сенатор указывали на двух лиц, именно Унковского и князя Оболенского. Открылась баллотировка — и что же вышло? Два эти лица забаллотированы были громадным большинством. В это время, как бы в шутку, кто-то сказал: «А не попросить ли нам баллотироваться Ивана Сидоровича Толмачева в председатели?» Лицо это было известно в Калуге своей простотой, доходившей до невозможности, а об образовании и знании судебного дела и говорить было нечего. Началась баллотировка, и наш Иван Сидорович Толмачев, во вред святого дела правосудия, избран был громадным большинством. Некоторые объяснили это нерасположением дворян к губернатору, желавшему провести в председатели князя Оболенского как своего родственника. Так или нет, но, во всяком случае, факт этот свидетельствует, что дворяне выбором лиц в

судейские должности не дорожили и не придавали этому никакой важности.

Сенатор князь Давыдов счел своим долгом через министра юстиции довести о сем до сведения государя, объяснив, что Толмачев, как малосведущий, положительно не может быть утвержден в должности председателя калужской гражданской палаты. Но государь Николай Павлович взглянул на это дело совсем иначе: смысл его взгляда был таков, что если дворяне не хотят сознавать важности предоставленных им прав, то ввиду наказания их повелел утвердить Толмачева в должности председателя.

6 параллель этому случаю расскажу еще один факт, свидетельствующий о том, как дворяне-председатели смотрели на дело отправления правосудия. В одной уголовной палате замечена была страшная медленность в ходе арестантских дел. Предписание за предписанием следовали одно за другим из министерства в палату о скорейшем решении дел. Спустя несколько времени после чего председатель палаты приезжает в Петербург и с ликующим лицом является к министру юстиции, докладывая, что все дела в его палате решены.

— Как же вы это сделали? — спросил министр.

— Я, ваше сиятельство, — отвечал председатель-дворянин, — воспользовался особым случаем. В нашем губернском остроге содержится несколько весьма опытных чиновников: вот я и роздал им дела, — они мне живо написали все, что нужно.

Министр, граф Панин, услышав это, всплеснул руками и удалился из приемной комнаты, не найдя, что сказать.

Были ли такие и подобные явления всеобщими и повсеместными? Нет, скажу я. Были и такие палаты, и в особенности те, где председатели по назначению от правительства, при помощи дельных товарищей, вели дела быстро и решали их правильно. Но это были исключения. Главное, что препятствовало отправлению дел в гражданских палатах, — так это бывшее при них, в прежнее время, учреждение крепостной части, что ныне возложено на нотариусов.

Возьмите любой губернский город, в нем, вероятно, вы найдете не менее пяти нотариусов. В пространных их конторах вы увидите много разного рода люда, пришедшего совершить или явить то доверенность, то условие, то купчую, то закладную и т. д. Вот этот весь народ, со всего города и из губернии, шел когда-то в гражданскую палату для изъясненной надобности и решительно наполнял все помещение палаты, требуя неотступно совершить как можно скорее представленный акт. К этому следует присовокупить, что при крепостной части в палате

состоял один только надсмотрщик с несколькими писцами. Ввиду устранения медленности оказывалось неизбежным, чтобы надсмотрщики содержали на свой счет несколько вольных писцов. Но все они при тех формах, коими в прежнее время обставлена была крепостная часть, не могли быстро справляться, а потому являлась медленность в совершении актов, а главное, развились подачки или взяточничество. Брали писцы, вольнонаемные при крепостной части, получал взятку надсмотрщик, но все бессловие падало часто на всю неповинную палату. Впрочем, обычай благодарить надсмотрщика, кажется, с давнего времени пустил глубокие корни.

Надсмотрщиков благодарили все, кто только совершал какой-либо акт. Это было как будто в обычае. Так, бывший Министр юстиции совершая в петербургской палате рядную запись в пользу своей дочери, велел, как мне положительно известно, дать надсмотрщику сто рублей. Исполнение сего возложено было на директора департамента министерства юстиции, Михаила Ивановича Топильского. Как исполнить это щекотливое поручение, то есть дать взятку от министра юстиции надсмотрщику? Михаил Иванович ухитрился: самым неприметным образом он сунул в портфель надсмотрщикам сто рублей.

Другой случай был таков: надсмотрщик киевской палаты привез бывшему генерал-губернатору Безаку засвидетельствованную для него доверенность. Безак, достав из стола три рубля, начал давать их надсмотрщику — но тот, отказавшись, быстро удалился. Безак, как оказывается, не любил комедии, крайне рассердился и велел тотчас догнать надсмотрщика и сунуть ему за шиворот деньги.

Так выразился Безак.

Читая все это, нельзя не подивиться, как в настоящее время изменились взгляды. Спросите теперь любого нотариуса: что стоит засвидетельствование доверенности? Один рубль, ответит он и, вовсе не церемонясь, с любезностью и улыбкой, не считая свой труд безвозмездным, берет от вас эти деньги и велит записать по книгам.

А прежде это, по понятиям незрелого общества, была взятка. Да, взятка, подвергавшая нареканию всех лиц, служащих в палате.

Казалось бы, чего легче, как в свое время отделить крепостную часть от палаты, о чем много было писано. Нет, часть эта, к крайнему прискорбию многих председателей, оставалась на день открытия реформы в ведении этих палат.

...В прежнее время, как известно, гражданские дела разделялись на бесспорные и спорные, первые подчинялись

полиции, а последние — разбору судов.

Уголовные же дела, все без исключения, начинались в полиции, которая и производила по ним следствия и только по окончании отсылала оные в суд.

На практике выходило так, что полиция и по гражданским делам, под видом бесспорности, принимала к своему производству все дела. Исключение из сего допускалось только в тех случаях, когда полиция не благоволила к истцу или ответчику, смотря по обстоятельствам и по отношению ее к заинтересованным лицам.

По отношению признания дела спорным или бесспорным она хотя и подчинялась суду, но вместе с тем она зависела и от губернского начальства.

Одним словом, происходило какое-то смешение властей, судебной и исполнительной, и из этого возникала нередко многосложная перекрестная и совершенно бесполезная переписка.

Но так как полиция могла действовать на лицо, подпавшее ее разбору, сама, без всякого посредства, а суд не имел исполнительного органа, то полиция или вообще исполнительная власть, в понятии общества, стояла как-то выше суда.

Верховенство полиции над судом в особенности выразилось в Петербурге и вообще в столицах, где представителями полиции были: управы благочиния, обер-полицмейстеры, генерал-губернаторы, Министерство внутренних дел и, наконец, и в важных случаях — III отделение собственной Его Величества канцелярии, то есть жандармское управление.

Притом Министерство внутренних дел и III отделение по отношению ли лиц, бывших во главе сих управлений, или по другим обстоятельствам, в понятии современников стояли, как-то ближе к государю императору, чем Министерство юстиции. Это последнее всегда и во всех случаях хотя указывало и держалось законного порядка, но, несмотря на это, и означенные управления, при неразграничении в точности законом предметов ведомства суда от их круга обязанности, считали себя вправе прибегать то к тем, то к другим мерам и были правы по духу времени. Вот почему эти управления, не стесняясь взглядов Министерства юстиции, очень часто позволяли себе прибегать к разным исключениям из общего порядка дел судебных.

Последствием сего было *вмешательство* в дела суда, который потому и являлся каким-то слабым орудием в отправлении правосудия, а потому в глазах всех, да и на самом деле он был несамостоятельным. Всем этим мы не хотим сказать, что в прежнее время вмешательство администрации и прочих властей в

дела суда имело какую-нибудь злонамеренную или корыстную или вообще недостойную цель. Нет, мы говорим, что в понятии прежней администрации и тех властей старый суд по своим формам и порядкам не представлял собой обеспечения, а потому, по их мнению, им самим и нужно было прибегать к исключительным мерам.

Меры эти были очень разнообразны: они состояли или в учреждении разных комиссий, на коих возлагали отправление разных функций суда, или в назначении следствий по делам судебным, или в командировании лиц несудебного ведомства для наблюдения за судебным делом, или в истребовании объяснений от лиц, служащих в суде, помимо властей судебного ведомства, и т. д. Всего не перечтешь.

...В подтверждение того, что в прежнее время администрация считала себя превыше юстиции, расскажу из многих еще один случай.

Я, как чиновник, командированный от Министерства юстиции для занятий в Министерство внутренних дел, представлялся бывшему тогда в последнем министру, Сергею Степановичу Ланскому.

Разговаривая со мной, Ланской спросил меня: «Ну, что ваш граф Виктор Никитич? Все судит да рядит, — а мы все-таки будем ездить по-своему». При этом Ланской, раскрыв два пальца правой руки и образовав из них рогульку, положил ее на один палец левой руки, а потом, поднимая и опуская ее несколько раз, делал движения наподобие конного ездока. «Вот так, вот так, — твердил, улыбаясь, добродушный министр, — мы ездим на вашей юстиции».

Анекдот сам по себе пустой, но характеризующий, что такое в прежнее время была юстиция и как на нее смотрела высшая администрация.

С своей стороны, III отделение, при шефе жандармов графе А. Х. Бенкендорфе, графе А. Ф. Орлове и других, состоя под ближайшим управлением генерала Леонтия Васильевича Дубельта, преследовало, по своим понятиям, кажущееся зло и, стремясь к добру, отправляло во многих случаях, ничем не стесняясь, функции судебных мест.

Так, оно определяло вины лиц по делам не политического свойства, брало имущество их под свою охрану, принимало по отношению к кредиторам на себя обязанности администрации и входило нередко в рассмотрение вопросов о том, кто и как нажил себе состояние и какой кому и в каком виде он сделал ущерб.

...В особенности III отделение в прежнее время зорко следило за действиями бывших тогда поверенных или адвокатов. Редкий

из них не побывал в III отделении для объяснений с генералом Леонтием Васильевичем Дубельтом. Имя его у всех людей, не служивших и занимавшихся вольным делом, было на языке.

Малейшая жалоба со стороны клиента на недобросовестность адвоката или поверенного, была ли она ложная или справедливая, — все это было излюбленным предметом генерала Дубельта. Некоторые из них подвергались высылке из города, а другие, под страхом подобных наказаний, искали себе покровительства, записываясь для виду и счета на службу.

Впрочем, вообще звание адвоката, как защитника по делам, в прежние времена не пользовалось общественным уважением. Оно не было чтимо и правительством. Это последнее как-то считало, что все граждане силой закона и установленным порядком достаточно ограждены.

В подтверждение сего расскажу весьма знаменательный случай.

В г. Москве в царствование императора Николая Павловича был генерал-губернатором светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын.

Князь этот зачастую приезжал в Петербург, где жила его мать, княгиня Наталия Петровна Голицына (moustache), сестры: графиня София Владимировна Строганова, владелица дома у Полицейского моста, и Екатерина Владимировна Апраксина.

Вот в один из таких его приездов к сестре Софии Владимировне, в доме и семействе которой я жил, я слышал от него следующий рассказ.

«Вскоре после моего назначения в Москву, — говорил князь, — ко мне принесли массу протоколов местной уголовной палаты для утверждения.

В этих протоколах определялась торговая казнь — через палачей на площадях. Таковые протоколы, по существовавшим правилам, не прежде приводились в исполнение, как по утверждении оных генерал-губернатором.

Вслушав объяснения докладчика об этих протоколах, — продолжал князь, — я спросил его: с какой стати мне, лицу, облеченному только высшей административной, а не судебной властью, без всякого убеждения о том, правильны ли решения палаты или нет, приходится утверждать эти кровавые протоколы?

Само собой разумеется, докладчик указывал на законы, но я — сказал князь, — остался при своем и протоколов не подписал.

Обстоятельство это дошло до сведения государя, и вот при одном моем представлении ему он меня спросил: что это значит?

Я объяснил, что ввиду отсутствия защиты о вине подсудимого при моих обязанностях, по званию генерал-губернатора, мне

невозможно обсудить правильность решения палаты, а потому просил устранить меня от подписи и утверждения тех протоколов.

— У тебя есть прокуроры и стряпчие, — возразил государь, — чтобы судить о правильности решения.

— Нет, государь, — позволил я себе сказать, — прокуроры и стряпчие не защитники, а преследователи, — тут нужны адвокаты.

Государь при слове «адвокаты» видимо нахмурился и сказал: «Да ты, я вижу, долго жил во Франции, и, кажется, еще во время революции, а потому неудивительно, что ты усвоил себе местные порядки. А кто, — продолжал государь говорить громко, — кто погубил Францию, как не адвокаты, вспомни хорошенько! Кто были Мирабо, Марат, Робеспьер и другие?! Нет, князь, — заключил государь, — пока я буду царствовать — России не нужны адвокаты, без них проживем. Делай то, что от тебя требует закон, более я ничего не желаю».

Чем кончилась участь протоколов московской уголовной палаты — не знаем, но слова и рассказ светлейшего князя Дмитрия Владимировича Голицына у меня сохранились свежо в памяти.

Из воспоминаний Н. М. Колмакова.

Русская старина, 1886, декабрь.

Телесные наказания (Из старых дел Рязского уездного полицейского управления)

8 ноября 1849 года за № 15847 начальник Рязанской губернии гражданский губернатор Кожин писал рязскому городничему официальную бумагу следующего содержания: «Вследствие отношения Департамента полиции исполнительной предписываю Вашему высокоблагородию донести мне немедленно, каким образом производится (в Рязанской губернии) наказание преступников плетьюми, вдоль или поперек спины, и по одной ли этой части тела или по другим». Ответ городничего от 18 ноября за № 737: «Его превосходительству господину Рязанскому гражданскому губернатору и кавалеру. Во исполнение предписания Вашего превосходительства от 8 ноября за № 15847 донести честь имею, что наказание преступников плетьюми производилось вдоль спины и по обеим нижним частям тела, ныне же наказание плетьюми через полицейских служителей отменено и те плети представлены в Рязанское губернское правление». В тех же делах имелись копии указов Рязанского губернского правления Рязскому земскому суду, помеченные февралем и декабрем 1857 года. На этот раз они касались как орудий наказаний, так и способа их применения. Первый указ гласил следующее: «Губернское правление, слушая циркулярное предписание господина министра внутренних дел от 11 февраля сего года за № 18, в коем изъяснено: при циркулярах Министерства внутренних дел от 18 июня и 30 сентября 1846 г. разосланы к начальникам губерний и областей штемпеля для клеймения каторжных и особый состав для натирания наложенных знаков клейм, а также наставление об употреблении оных^[1].

Между тем в одной губернии на некоторых преступниках клейма оказались неясными, что произошло, по отзыву местной врачебной управы, от небрежного намазывания краской мест клеймения; губернское правление признало виновными в невнимательном отношении за должным клеймением членов местного земского суда, уездного стряпчего и уездного врача, присутствовавших при наказании. Посему возник вопрос: следует ли возобновлять на каторжных неясные клейма, подобно тому как разрешено их возобновлять на бродягах, подвергая ответственности виновных в упущениях по этому предмету. При рассмотрении означенного вопроса правительствующий Сенат,

приняв на вид, что наложение клейм на каторжных не составляет меры предупреждения от побегов, но по силе 1-го приложения к 19-й ст. уложения изданного 15 августа 1845 г., относится к числу наказаний телесных, которым подвергаются не все сосланные в каторжную работу преступники, а лишь подлежащие телесному наказанию мужчины, не нашел основания к повторению этого наказания над теми преступниками, которые уже его понесли. С тем вместе правительствующий Сенат поручил Его Высочайшему Правительству подтвердить кому следует о точном исполнении предписанных от Министерства внутренних дел правил о постановлении знаков клейм; под опасением в противном случае строгой ответственности по законам. Вследствие сего министр внутренних дел просит начальника здешней губернии строжайше подтвердить всем чиновникам, обязанным присутствовать при наказании преступников, о непременном наблюдении с их стороны за точным исполнением упомянутых правил о наложении на каторжных клейм, виновного же в упущениях подвергать строгой ответственности по законам. Приказали: о содержании настоящего предписания г. министра внутренних дел, дав знать всем здешней губернии градским и земским полицией и уездным стряпчим, строжайше подтвердить указами иметь наблюдение за явственным наложением на каторжных клейм при наказании их под опасением строгой ответственности по законам, а Рязанской врачебной управе предписано вменить всем подведомственным ей городским и уездным врачам о правильном наложении на каторжных клейм».

И второй указ: «Губернское правление, слушая переданное в сие правление циркулярное предписание г-на министра внутренних дел, последовавшее на имя начальника губернии от 18-го минувшего октября за № 138, в коем изъяснено: по Высочайше утвержденному 10 мая 1839 г. положению Комитета министров, сообщенному к исполнению начальникам губерний в секретном циркуляре Министерства внутренних дел от 20 января 1840 г. за № 21, заготовлены были министерством образцы орудий для телесного наказания преступников, как-то: кнут, плеть, протяжные ремни и штемпеля, — и разосланы тогда же во все губернии и области, с тем чтобы употреблявшиеся там прежде орудия телесного наказания преступников были уничтожены, а заготовлены новые по упомянутым образцам. Заготовление сие, как тогда, так и впредь, на основании означенного высочайше утвержденного положения Комитета министров, предписано производить хозяйственным образом, по распоряжению губернского начальства и под непосредственным их наблюдением, насчет экстраординарных сумм. Из числа

установленных орудий наказаний кнут в настоящее время уже отменен уголовным уложением и штемпеля, измененные в форме (вместо букв «В. О. Р.» буквы «К А. Т.», то есть «кат[оржник]»; эти буквы ставили таким образом, что «К» приходилось на лоб, «А» — на правой щеке, «Т» — на левой) на основании циркулярных предписаний Министерства внутренних дел, от 18 июня и 30 сентября 1846 г., изготовляются и рассылаются по распоряжению министерства к начальникам губерний вследствие их представлений, заготовление плетей и притяжных ремней осталось по-прежнему на обязанности губернских начальств. Между тем о заготовлении вновь плетей, вместо приходящих в негодность от употребления, некоторые начальники губерний входят с представлениями в Министерство внутренних дел. Находя такие представления несогласными с упомянутым высочайше утвержденным положением Комитета министров, он, министр внутренних дел, просит Его Превосходительство сделать распоряжение, чтобы на будущее время заготовление плетей для наказания преступников, по силе установленных на этот предмет правил, производимо было хозяйственным образом, по распоряжению губернского правления и под его непосредственным наблюдением, не обременяя министерство подобными требованиями. Приказали: о содержании настоящего предписания министра внутренних дел дать знать градским и земским полициям Рязанской губернии и передать копию в 9-й стол сего правления к сведению и руководству».

Былое, 1907, октябрь.

Кнут и шпицрутены (Бунт в военных поселениях, 1832 год)

Виновных в нашем округе оказалось около 300 человек. Квартиры убитых штаб-офицеров, обер-офицеров, докторов и других лиц обращены были в арестантские тюрьмы, в окна вставили железные решетки. В эти временные тюрьмы, в деревянных тяжелых колодках, были рассажены арестованные. Охраняли их казаки и солдаты резервов, потом прислан был еще батальон солдат, кажется, из Петербурга.

Обвиняемые, сколько помню про наш округ, просидели в тюрьмах до Великого поста 1832 года, в томительном ожидании окончательного решения своей участи. Наконец участь эта была решена: одних приговорили к наказанию кнутом на так называемой кобыле, а других — к прогнанию шпицрутенами.

Я живо помню эти орудия казни. Кобыла — это доска длиннее человеческого роста, дюйма в 3 толщины и в пол-аршина ширины, на одном конце доски — вырезка для шеи, а по бокам — вырезки для рук, так что когда преступника клали на кобылу, то он обхватывал ее руками, и уже на другой стороне руки скручивались ремнем, шея притягивалась также ремнем, равно как и ноги. Другим концом доска крепко врывалась в землю наискось, под углом.

Кнут состоял из довольно толстой и твердой рукоятки, к которой прикреплялся плетеный кнут, длиной аршина полтора, а на кончик кнута навязывался 6 или 8-вершковый, в карандаш толщиной, четырехгранный сыромятный ремень.

Что же касается до шпицрутен, то я вполне ясно помню, что два экземпляра их, для образца, были присланы (как я позже слышал) Югейнмихелем в канцелярию округа из Петербурга. Эти образцовые шпицрутены были присланы, как потом мне рассказывали, при бумаге, за красной печатью, причем предписывалось изготовить по ним столько тысяч, сколько потребуется. Шпицрутен — это палка в диаметре несколько менее вершка, в длину — сажень; это гибкий, гладкий прут из лозы. Таких прутьев для предстоящей казни бунтовщиков нарублено было бесчисленное множество, многие десятки возов.

Наступило время казни. Сколько помню, это было на первой или на второй неделе Великого поста. Подстрекаемый детским любопытством (мне шел 9-й год), я бегал на плац, лежащий между штабом и церковью, каждый день во все время казней. Морозы стояли в те дни самые лютые.

На плацу, как теперь вижу, была врыта кобыла, близ нее прохаживались два палача, парни лет 25-ти, отлично сложенные, мускулистые, широкоплечие, в красных рубашках, плисовых шароварах и в сапогах с напуском. Кругом плаца расставлены были казаки и резервный батальон, а за ними толпились родственники осужденных.

Около 9-ти часов утра прибыли на место казни осужденные к кнуту, которых, помнится, в первый день казни было 25 человек. Одни из них приговорены были к 101 удару кнутом, другие — к 70-ти или к 50-ти, а третьи — к 25-ти ударам кнута. Приговоренных клали на кобылу по очереди, так что в то время, как одного наказывали, все остальные стояли тут же и ждали своей очереди. Первого положили из тех, которым было назначено 101 удар. Палач отошел шагов на 15 от кобылы, потом медленным шагом стал приближаться к наказываемому, кнут тащился между ног палача по снегу; когда палач подходил на близкое расстояние от кобылы, то высоко взмахивал правой рукой кнут, раздавался в воздухе свист и затем удар. Палач опять отходил на прежнюю дистанцию, опять начинал медленно приближаться и т. д.

Наивно-детскими, любопытными глазами следил я за взмахами кнута и смотрел на спину казнимых: первые удары делались крест-накрест, с правого плеча по ребрам, под левый бок, и слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперек спины. Мне казалось, что палач с первого же раза весьма глубоко прорубал кожу, потому что после каждого удара он левой рукой смахивал с кнута полную горсть крови. При первых ударах обыкновенно слышен был у казнимых глухой стон, который умолкал скоро, затем уже их рубили, как мясо. Во время самого дела, отсчитавши, например, ударов 20 или 30, палач подходил к стоявшему тут же на снегу полуштофу, наливал стакан водки, выпивал и опять принимался за работу. Все это делалось очень, очень медленно.

При казни присутствовали священник и доктор. Когда наказываемый не издавал ни стоны, никакого звука, не замечалось даже признаков жизни, тогда ему развязывали руки и доктор давал нюхать спирт. Когда при этом находили, что человек еще жив, его опять привязывали к кобыле и продолжали наказывать.

Под кнутом, сколько помню, ни один не умер (помирали на второй или третий день после казни); между тем каждый получал определенное приговором суда число ударов.

Но ударами кнута казнь не оканчивалась. После кнута наказанного снимали с кобылы и сажали на барабан; на спину,

которая походила на высоко вздутое рубленое мясо, накидывали какой-то тулуп. Палач брал коробочку, вынимал из нее рукоятку, на которой сделаны были буквы из стальных шпилек в $1\frac{1}{2}$ дюйма длины; шпильки эти изображали, помнится, букву «К» и еще какие-то буквы. Палач, держа рукоятку в левой руке, приставлял штемпель ко лбу несчастного, затем правой рукой со всего размаху ударял по другому концу рукоятки, шпильки вонзались в лоб, и таким образом получалось требуемое клеймо, таким же приемом быстро высекались буквы на обеих щеках. После отнятия клейма из ранок сочилась кровь, палач затира л кровавые буквы каким-то порошком, чуть ли не порохом, так что в каждой прорези оставался черный след. Таким образом, получался знак, который впоследствии, как я слышал, делается совершенно белым и не может уничтожиться очень долго, остается на всю жизнь.

Казнь кнутом продолжалась до сумерек, и во все это время били барабаны.

Наказание шпицрутенами происходило на другом: плацу, за оврагом. На эту казнь я бегал по несколько раз в течение двух недель; холодно, устану — сбегаю домой, отогреюсь и опять прибегу. Музыка, видите ли, играла там целый день — барабан да флейта, — это и привлекало толпу ребятишек.

На этом плацу, за оврагом, два батальона солдат, всего тысячи в полторы, построены были в два параллельных друг другу круга, шеренгами лицом к лицу. Каждый из солдат держал в левой руке ружье у ноги, а в правой — шпицрутен. Начальство находилось посередине и по списку выкликало, кому когда выходить и сколько пройти кругов, или, что то же, получить ударов. Вызывали человек по 15 осужденных, сначала тех, которым следовало каждому по 2000 ударов. Тотчас спускали у них рубашки до пояса, голову оставляли открытой. Затем каждого ставили один за другим, гуськом, таким образом: руки преступника привязывали к примкнутому штыку так, что штык приходился против живота, причем, очевидно, вперед бежать было невозможно, нельзя также и остановиться или попятиться назад, потому что спереди тянут за приклад два унтер-офицера. Когда осужденных устанавливали, то под звуки барабана и флейты они начинали двигаться друг за другом. Каждый солдат делал из шеренги правой ногой шаг вперед, наносил удар и опять становился на свое место. Наказываемый получал удары с обеих сторон, поэтому каждый раз голова его, судорожно откидываясь, поворачивалась в ту сторону, с которой следовал удар. Во время шествия кругом, по зеленой улице, слышны были только крики несчастных: «Братцы! Помилосердствуйте, братцы, помилосердствуйте!»

Если кто при обходе кругом падал и даже не мог идти, то подъезжали сани, розвальни, которые везли солдаты, клали на них обессиленного, помертвевшего и везли вдоль шеренги; удары продолжали раздаваться до тех пор, пока несчастный ни охнуть, нидохнуть не мог.

В таком случае подходил доктор и давал нюхать спирту. Мертвых выволакивали вон, за фронт.

Начальство зорко наблюдало за солдатами, чтобы из них кто-нибудь не сжалился и не ударил бы легче, чем следовало.

При этой казни, сколько помню, женщинам не позволялось присутствовать, а, по приказанию начальства, собраны были только мужчины, в числе которых находились отцы, братья и другие родственники наказываемых. Всем зрителям довелось пережить страшные, едва ли не более мучительные часы, чем казнимым. Но мало того. Были случаи, что между осужденными и солдатами, их наказывающими, существовали близкие родственные связи: брат бичевал брата, сын истязал отца... Наказанных развозили по домам обывателей на санях, конвоируемых несколькими казаками. Надобно заметить, что так как всех 300 человек, наказанных в одном только нашем округе, в лазарете поместить было нельзя, то для них отведены были некоторые избы поселян. Сюда уже беспрепятственно ходили все родные, приносили больным съестные припасы и водку для обмывания ран: водка предохраняла раны от гниения.

Ни одному из наказанных шпицрутенами не было назначено, как мне потом рассказывали, менее 1000 ударов; большей же частью — давали по 2, даже по 3 тысячи ударов; братьям Ларичам, как распространителям мятежа, дано по 4000 ударов каждому, оба на другой день после казни умерли. Перемерло, впрочем, много из казненных, этому способствовали: недостаток докторов, отсутствие медицинских средств, неимение хороших помещений, недостаток надлежащего ухода за больными и проч.

В народе во все время казней и всех их последствий не замечалось никакого озлобления, ни малейшего ропота против начальства, говорили только: «Господь наказывает нас за грехи».

Из воспоминаний Л. А. Серякова.
Русская Старина, 1875, сентябрь.

Одна из резолюций Николая I

Во время отсутствия графа Воронцова из Одессы в 1827 году новороссийскими губерниями управлял тайный советник граф Пален. Во всеподданнейшем рапорте от 10 октября 1827 года граф донес о тайном переходе двоих евреев через р. Прут и присовокуплял, что одно только определение смертной казни за карантинные преступления способно положить предел оным. Император Николай на этом рапорте написал нижеследующую собственноручную резолюцию:

«Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало, и не мне ее вводить».

Русская Старина, 1883, декабрь.

Глава V

Крепостное право

Речь Николая I в заседании Государственного совета 30 марта 1842 года

Наступило достопамятное 30 марта. Членам не было разослано никаких особых повесток, и при всем том, вследствие, конечно, разнесшегося слуха, даже самые неточные собрались заблаговременно. В 20 минут 12-го император Николай, в сопровождении одного только государя наследника и без всякой встречи, быстро вошел в залу собрания, окинув всех присутствовавших взглядом и улыбкой приветствия, пожал руку князю Васильчикову и занял место председателя не Совета, а Департамента законов, графа Блудова, который отодвинулся несколько левее, так что государю пришлось сидеть между ним и докладчиком, наискось от Васильчикова, оставшегося на обыкновенном своем месте. Собрание состояло из 34 членов^[2].

Не было только еще князя Волконского и графа Киселева, которые вошли несколькими минутами позже, и великого князя Михаила Павловича, за которым немедленно послали нарочного. Государь был в конногвардейском мундире, а члены, будучи не оповещены об офицерской форме, были в обыкновенной советской форме, без лент. Когда все сели, государь, сидя, произнес следующую речь^[3]:

«Прежде слушания дела, для которого мы собрались, я считаю нужным познакомить Совет с моим образом мыслей по этому предмету и с теми побуждениями, которыми я в нем руководствовался. Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его положении у нас, есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему *теперь* было бы делом еще более гибельным. Покойный император Александр в начале своего царствования имел намерение дать крепостным людям свободу, но потом сам отклонился от своей мысли, как совершенно еще преждевременной и невозможной в исполнении. Я так же никогда на это не решусь, считая, что если время, когда можно будет приступить к такой мере, вообще очень еще далеко, то в настоящую эпоху всякий помысел о том был бы не что иное, как преступное посягательство на общественное спокойствие и на благо государства. Пугачевский бунт доказал, до чего может доходить буйство черни. Позднейшие события и попытки в таком роде до сих пор всегда были счастливо прекращаемы, что, конечно, и впредь будет точно также предметом особенной и, с помощью Божией, успешной заботливости правительства. Но

нельзя скрывать от себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали прежде, и всякому благоразумному наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может продолжаться всегда. Причины этой перемены мыслей и чаще повторяющихся в последнее время беспокойств я не могу не отнести больше всего к двум причинам: во-первых, к собственной неосторожности помещиков, которые дают своим крепостным несвойственное состоянию последних высшее воспитание, а через то, развивая в них новый круг понятий, делают их положение еще более тягостным; во-вторых, к тому, что некоторые помещики — хотя, благодаря Богу, самое меньшее их число, — забывая благородный долг, употребляют свою власть во зло, а дворянские предводители, как многие из них сами мне отзывались, к пресечению таких злоупотреблений не находят средств в законе, ничем почти не ограничивающем помещичьей власти. Но если нынешнее положение таково, что оно не может продолжаться, и если вместе с тем и решительные к прекращению его способы также невозможны без общего потрясения, то необходимо, по крайней мере, приготовить пути для постепенного перехода к другому порядку вещей и, не утрущаясь перед всякой переменной, хладнокровно обсудить ее пользу и последствия. Не должно давать вольности, но должно проложить дорогу к переходному состоянию, а с ним связать ненарушимое Охранение вотчинной собственности на землю. Я считаю это священной моею обязанностью и обязанностью тех, кто будет после меня, а средства, по моему мнению, вполне представляются в предложенном теперь Совету проекте указа. Он, во первых, не есть закон новый, а только следствие и, так сказать, развитие существующего сорок лет закона о свободных хлебопашцах; во вторых, устраняет, однако же, вредное начало этого закона — отчуждение от помещиков поземельной собственности, которую, напротив, столько по всему желательно видеть навсегда неприкосновенной в руках дворянства, — мысль, от которой я никогда не отступлю; в третьих, выражает прямо волю и убеждение правительства, что земля есть собственность не крестьян, которые на ней поселены, а помещиков, — предмет такой же первостепенной важности для будущего спокойствия; наконец, в четвертых, без всяких крупных переворотов, без всякого даже вида нововведения дает каждому благонамеренному владельцу способы улучшать положение его крестьян и, отнюдь не налагая ни на кого обязанности принуждения, или стесняющей в чем-нибудь право собственности, предоставляет все доброй воле каждого и влечению собственного его сердца. С другой стороны, проект оставляет крестьян крепкими той земле, на которой они

записаны, и через это избегает неудобства положений, действовавших доньше в остзейских губерниях, — положений, которые довели крестьян до самого жалкого состояния, обратили их в батраков и побудили тамошнее дворянство просить именно о том же, что теперь здесь предлагается. Между тем, я повторяю, что все должно идти постепенно и не может и не должно быть сделано разом или вдруг. Проект содержит в себе одни главные начала и первые указания. Он открывает всякому, как я уже сказал, способ следовать, под защитой и при пособии закона, сердечному своему влечению. В ограждении интереса помещиков ставится добрая их воля и собственная заботливость, а интерес крестьян будет огражден через рассмотрение каждый раз условий не только местными властями, но и высшим правительством, с утверждения власти самодержавной. Идти теперь далее и вперед обнять все прочие, может статься, очень обширные и добрые развития этих главных начал — невозможно. Когда помещики, которые пожелают воспользоваться действием указа, представят проекты условий, основанные на местностях и на различных родах сельского хозяйства, тогда соображение этих условий тем же порядком, как теперь договоров со свободными хлебопашцами, укажет, по практическим их данным, что нужно и можно будет сделать в подробностях и чего в настоящее время, о подобной теории, со всей осторожностью и прозорливостью, никак вперед предусмотреть нельзя. Но отлагать начинание, которого польза очевидна, и отлагать потому только, что некоторые вопросы с намерением оставляются неразрешенными и на первый раз предвидятся некоторые недоумения, — я не нахожу никакой причины. Невозможно ожидать, чтобы дело принялось вдруг и повсеместно. Это даже не соответствовало бы и нашим видам. Между тем при постепенном и, вероятно, довольно медленном развитии его на разных пунктах империи опыт всего лучше и надежнее придет здесь на помощь. Этим опытом, без сомнения, развяжутся и такие вопросы, которые теперь, без его пособия, кажутся затруднительными. Закон должен вмещать в себя одни главные начала; частности разрешатся по мере частных случаев, и впоследствии совокупный свод таких случаев составит основу целого положительного уже законодательства. Настоящим делом очень долго и подробно занимался особый комитет, которому оно было от меня поручено, но, не скрывая перед собой всех его трудностей, я не решился подписать указ без нового пересмотра в Государственном совете. Я люблю всегда правду, господа, и, полагаясь на вашу опытность и верноподданническое усердие, приглашаю вас теперь изъяснить ваши мысли со всей откровенностью, не стесняясь личных моих убеждений. Одно

только не могу не поставить с прискорбием в вину Совета — именно той публичной, естественно преувеличенной народной молвы, которой источники отношу к неуместным разглашениям со стороны лиц, облеченных моим доверием и обязанных, самым долгом их присяги, хранить государственную тайну. Я принужден по этому случаю подтвердить передать всем собранием Совета, чтобы впредь присяжный долг исполняем был ненарушимо как членами, так и канцелярией, и предворяю, что если бы, сверх ожидания, опять дошло до моего сведения о подобных разглашениях, то я велю тотчас судить виновных по строгости законов, как за государственное преступление».

Вот очерк того, что сказал государь, но очерк слабый и безжизненный, потому что бумага — не живая речь! Как перед пером выражавшееся в каждом слове, в каждом движении сознание внутреннего, высокого достоинства; это царственное величие, этот плавно текший поток речи, в котором каждое слово представляло мысль; этот звонкий, могучий орган, великолепную наружность, совершенное спокойствие осанки, которые так очаровали многочисленное собрание! Государь давно уже кончил, а все кругом него еще безмолвствовали в благоговейном удивлении. И именно в *это* заседание, о котором так хотелось прокричать по целой России, он наложил на нас обет и печать молчания!..

За этой речью я прочел Совету департаментский журнал и самый проект указа, что заняло около трех четвертей часа, после чего государь повторил членам приглашение высказать свободно и откровенно их мысли.

«Сборник Имп. Рус. истор. общ.», т. 98, стр. 114–117.

Что сделано было в царствование императора Николая I для ограничения крепостного права

Мысль о необходимости уничтожения рано или поздно крепостного права была не чужда Николаю Павловичу еще до вступления его на престол, как потому, что ее проводил в своих лекциях академик Шторх, преподававший великому князю политическую экономию, так и потому, что она занимала его брата, императора Александра I, постоянно собиравшего проекты по этому предмету. Впрочем, Николай Павлович пришел, по его собственному свидетельству, к такому выводу, что если его брат и намерен был первоначально дать крепостным свободу, то впоследствии он «отклонился от сей мысли, как еще совершенно преждевременной и невозможной в исполнении».

Однако первые же дни царствования императора Николая должны были его убедить, что лучшие представители молодого поколения иначе смотрят на этот вопрос: из первых допросов арестованных декабристов присутствовавший на них государь узнал, что одной из главных причин общественного недовольства была инертность правительства в деле освобождения крестьян, — молодые люди смело и откровенно высказывали свои мысли по этому предмету. Через год после вступления на престол император Николай учредил, 6 декабря 1826 года, секретный комитет, которому было поручено рассмотреть предположения относительно улучшения различных отраслей государственного устройства и управления и, между прочим, относительно изменения быта крестьян, для чего комитету были переданы и проекты по этому вопросу, представленные правительству в предшествовавшее царствование. Еще прежде, чем закончил свою деятельность комитет 6 декабря 1826 года, по высочайшему повелению был учрежден особый комитет для составления закона о прекращении продажи людей без земли. При разногласии в Государственном совете относительно продажи крестьян на своз, возникшем при обсуждении составленных этими комитетами законопроектов, государь примкнул к мнению большинства, высказавшегося за запрещение безземельной продажи крепостных без всякого исключения. Однако проекты комитета от 6 декабря 1826 года, в конце концов, одобрены не были вследствие протеста великого князя Константина Павловича. Из разговора императора Николая с Киселевым в 1834 году мы видим, что с самого вступления на престол государь собирает материалы по

крестьянскому делу и задумывает вести «процесс» против «рабства, когда наступит время, чтобы освободить крестьян во всей Империи», но не встречает сочувствия не только со стороны министров, которые боязливо отступают перед этим вопросом, но и со стороны своих братьев, Константина и Михаила.

Тем не менее государь категорически высказал в разговоре с Киселевым убеждение, что дело это он должен «передать сыну с возможным облегчением при исполнении», то есть серьезно подготовить его окончательное решение. Сознавая свою неопытность и неподготовленность в этом отношении, император Николай был крайне доволен, что нашел себе такого помощника, как Киселев, который при управлении им дунайскими княжествами занимался регулированием положения крестьян, живущих на владельческих землях. В следующем, 1835 году государь учредил новый секретный комитет, одной из задач которого было принятие мер для улучшения состояния помещичьих крестьян, но деятельность которого не имела никаких практических результатов для крепостного населения России.

В конце 1839 года император Николай опять учреждает секретный комитет, который должен был уже исключительно заняться вопросом об изменении быта крепостных крестьян. В марте 1840 года член этого комитета Киселев предложил государю следующую программу мер для ослабления помещичьей власти и освобождения крепостных: 1) устройство быта дворовых людей; 2) исполнение помещичьими крестьянами рекрутской повинности на основании общих правил, установленных относительно отбывания ее для прочих сословий; 3) назначение крестьянам определенных земельных наделов и предоставление им прав собственности на движимое имущество; 4) ограничение права помещиков наказывать крестьян; 5) устройство для крепостных крестьян сельского управления с сохранением влияния помещиков, но вместе с тем с предоставлением крестьянам права обращаться в судебные места наравне с свободными хлебопашцами.

Государь нашел все эти предположения «весьма справедливыми и основательными» и разрешил внести их в комитет, но когда Киселев составил подробный проект, обнимающий лишь часть этих предположений, именно определение наделов и повинностей крестьян, то государь повелел объявить комитету в феврале 1841 года, что он не имел и не имеет намерения дать предполагаемому изменению закона о свободных хлебопашцах силу обязательного постановления и что увольнение крестьян в обязанные должно быть основано на

собственном желании помещиков. Такое повеление по своему общему смыслу, конечно, подкрепило мнение членов комитета, протестовавших против установления каких бы то ни было обязательных норм повинностей при обращении крепостных крестьян в обязанные.

В марте 1842 года государь произнес в Государственном совете перед обсуждением закона об обязанных крестьянах целую речь, в которой, между прочим, сказал, что «никогда не решится даровать свободу крепостным людям», что время, когда к этому можно будет приступить, еще весьма далеко и что теперь «всякий помысел о сем был бы лишь преступным посягательством на общественное спокойствие и благо государства». Но если, по мнению государя, и «не должно давать вольности» крепостным, то зато «должно открыть путь к другому переходному состоянию» на основании добровольных соглашений между помещиками и крестьянами. Всего важнее в этой речи было решительное осуждение обезземеления крестьян в Остзейском крае, а затем заявление, что настоящий закон есть только первый шаг на пути ограничения крепостного права: воспользовавшись теми договорами, которые будут заключены на основании этого указа, и подробным регулированием в них отношений помещиков к крестьянам, государь предполагал издать впоследствии обстоятельный закон, который, как надо полагать на основании его упоминания о положительном законодательстве, он имел в виду сделать уже обязательным для владельцев населенных имений, в настоящее же время он не желал оказывать на них давления.

Когда в том же заседании кн. Д. В. Голицын сделал замечание, что если оставить договоры на волю дворян, то едва ли кто-нибудь станет их заключать, и потому лучше прямо ограничить власть помещиков инвентарями, взяв за основание указ императора Павла о трехдневной барщине, то государь сказал: «Я, конечно, самодержавный и самовластный, но на такую меру никогда не решусь, как не решусь и на то, чтобы приказать помещикам заключить договоры: это должно быть делом их доброй воли, и только опыт укажет, в какой степени можно будет перейти от добровольного к обязательному».

Но относительно Западной России император Николай держался иных взглядов: в марте 1840 года на постановлении комитета западных губерний он написал: «Полагаю, что можно решительно велеть ввести в помещичьих владениях те инвентари, которыми само правительство довольствуется в арендных имениях. Ежели от сего будет некоторое стеснение прав помещиков, то оно касается прямо блага их крепостных людей и

не должно отнюдь останавливать благой цели правительства», — и вскоре после того предписал ввести инвентари в четырехмесячный срок. Когда исполнить это повеление так скоро не оказалось возможным, то в феврале 1841 года, за несколько дней до объявления комитету об обязанных крестьянах, что увольнение крепостных в обязанные должно быть основано на собственном желании помещиков, император Николай на докладе комитета западных губерний, заключающем предположение о введении в этом крае обязательных инвентарей, написал: «Делом сим не медлить, я считаю его особенно важным и ожидаю от сей меры большой пользы».

В 1840 году император Николай учредил секретный комитет для улучшения быта дворовых, имевший всего три заседания, после чего было велено оставить это дело впредь до удобного времени. В 1843 году государь поручил министру внутренних дел Перовскому представить свои соображения по вопросу о дворовых и, когда он исполнил это требование, учредил новый секретный комитет об устройстве их быта, в котором принял сам ближайшее участие, он согласился на некоторые маловажные меры, направленные главным образом к уменьшению числа дворовых, но вместе с тем заявил, что «прямого воспрещения помещикам брать из крестьян в дворовые следует избегать до последней крайности». Тут же он сказал, что мысль об изменении у нас крепостного состояния никогда не оставляла его с самого вступления на престол и что, считая постепенность мер первым условием в этом деле, он решился начать с дворовых людей, но затем опять повторил, — что запрещение помещикам переводить крестьян во дворе признает «решительно на долгое время невозможным». Считая полезным выдавать из казны ссуды дворовым, владельцы которых будут отпускать их на волю за определенную плату, государь решил ассигновать с этой целью на первый случай до 100 000 рублей, но предположение это, сколько нам известно, исполнено не было. Закон 1844 года о выкупе дворовых на волю, бывший результатом деятельности этого комитета, не имел никаких существенных последствий.

В 1846 году, для рассмотрения записки министра внутренних дел Перовского «Об уничтожении крепостного состояния в России» был опять учрежден секретный комитет, который признал своевременным лишь принятие мер для ограждения движимого имущества крепостных крестьян от несправедливых притязаний помещиков, что император Николай и приказал исполнить. Но в том же году, еще ранее, чем это повеление государя осуществилось, Комитетом министров был возбужден вопрос о даровании крепостным «права на собственность»

относительно недвижимого имущества, чем государь и повелел заняться немедленно, сказав по этому поводу Киселеву: «Пока человек есть вещь, другому принадлежащая, нельзя движимость его признавать собственностью, но при случае и в свою очередь и это сделается». Однако новые предположения привели в марте 1848 года к ничтожному результату — к дозволению приобретать недвижимую собственность не иначе как с согласия помещика, и при том с запрещением начинать какие бы то ни было споры относительно недвижимых имуществ, уже прежде купленных крепостными на имя помещиков.

Когда барон Корф возбудил в июне 1847 года вопрос о распространении на всю Россию права грузинских крестьян выкупаться на свободу при продаже с аукциона населенных имений, государь с полным сочувствием отнесся к этому предположению и, собирая для его обсуждения «келейный» комитет, заявил, что «пользу и главные начала» этого дела он считает уже решенными^[4], и благодаря такой, едва ли не единственный раз обнаруженной императором Николаем решительности относительно крестьянского вопроса в собственной России не замедлилось издание указа по этому предмету (8 ноября 1847 г.); но против этой правительственной меры началась усиленная агитация со стороны наших крепостников, и распускаемые ими неблагоприятные слухи и даже письменные протесты, присылаемые государю, пришлось рассматривать в двух комитетах, из которых первый был Учрежден в начале 1848 года и очень быстро закончил свою деятельность, а второй в конце года подготовил негласную отмену указа от 8 ноября. К 1847 году относится обращение императора Николая к смоленским дворянам с выражением желания, чтоб они отозвались на призыв правительства относительно обращения крепостных крестьян в обязанные, причем в речи к депутатам смоленского дворянства государь, между прочим, сказал, что «крестьянин, находящийся нынче в крепостном состоянии почти не по праву, а обычаем, через долгое время не может считаться собственностью, а тем более вещь». Но уже в конце того же года один помещик, пославший наследнику-цесаревичу записку по крестьянскому вопросу, получил такой ответ: цесаревичу известно, что государь «отнюдь не имеет намерения изменять настоящих отношений крестьян помещичьих к их владельцам»; вслед за тем смоленскому дворянству (из среды которого группа помещиков в 13 человек отправила коллективный проект по крестьянскому делу) было дано знать официально, что государь «не желает, чтобы производились частные подписки, но что каждый имеет

руководиться указом 2-го апреля 1842 года отдельно»^[5], и, наконец, в начале 1849 года мнение смоленского губернского предводителя дворянства князя Друцкого-Соколинского, проникнутое самыми крепостническими тенденциями, заслужило одобрение государя. Реакция, начавшаяся у нас вслед за февральской революцией во Франции, вызвала гонение даже и на весьма умеренные протесты против крепостного права в печати. Некоторая решительность была обнаружена государем лишь относительно юго-западного края, для которого инвентарные правила были утверждены первоначально 26 мая 1847 года, а затем в новой редакции 29 декабря 1848 года, когда нечего было уже и думать о прогрессивном движении в крестьянском деле в собственной России^[6].

Таким образом, император Николай, при всех своих добрых намерениях в крестьянском вопросе, при ясном сознании необходимости уничтожения крепостного права, если не при нем, то, по крайней мере, в следующее царствование, и настоятельности серьезной подготовки этой меры, обнаружил такую нерешительность в этом отношении, что деятельность 9 «секретных», «келейных» и «особых» комитетов не имела никаких серьезных последствий, так как из числа подготовленных ими мер две, единственно возбуждавшие надежды, — закон об обязанных крестьянах и дозволении выкупаться на свободу при продаже с аукциона, — не принесли почти никакой пользы: первая — вследствие крайней инертности дворянства и равнодушия громадного большинства его к крестьянскому вопросу, а вторая — вследствие ее скорой отмены; лишь деятельность десятого комитета (о западных губерниях), при содействии энергического генерал-губернатора юго-западного края Д. Г. Бибикова, была не лишена полезных до известной степени результатов. Одна из главных причин того, что деятельность целого ряда правительственных комиссий осталась бесплодной, была крайняя боязнь гласности, столь необходимой в этом деле, и неосновательная уверенность, что такое сложное дело, как ограничение крепостного права, может быть обсуждено и подготовлено исключительно бюрократическими средствами, без содействия общества и печати; отсюда и нежелание допустить какую бы то ни было общественную самодеятельность в дворянстве и воспреещение представителям науки, литературы и журналистики оказать со своей стороны содействие правительству в том святом деле, за которое оно бралось так нерешительно. Мы видели, с каким горячим сочувствием относились к намерениям правительства по крестьянскому делу даже люди, считавшиеся столь крайними, как Белинский;

понятно, какое могучее содействие могли бы оказать эти передовые деятели правительству, одни — прямым обсуждением мер, настолько необходимых, другие — гуманизированием общества посредством своих беллетристических и иных литературных произведений, посвященных защите интересов закрепощенного крестьянства. Но правительство с величайшей нетерпимостью отвергло содействие этих людей, а среди высшей администрации Чернышевы, Орловы, Перовские тормозили инициативу Киселева, единственного более других энергического человека в крестьянском деле, и сводили к нулю иногда благие начинания, положенные в основу деятельности того или другого комитета. Если, однако, благодаря этому противодействию лиц, непосредственно окружающих государя, его мечты о подготовке падения крепостного права и не привели ни к каким строгим мерам, направленным к его ограничению, то все-таки признание государя, что он обязан по мере возможности действовать в этом направлении, вызвало целый ряд отдельных, хотя и не особенно важных, но зато довольно многочисленных узакониваний, кое в чем ограничивавших помещичью власть и распространение крепостного права.

Если мы сопоставим требования, высказанные разными комитетами, членами администрации и частными лицами относительно ограничения крепостного права, с тем, что было действительно сделано с этой целью в царствование императора Николая, то мы увидим, что ограничение крепостного права за эту эпоху подвинулось вперед весьма мало, не говоря уже, разумеется, об освобождении крепостных, необходимость которого стало все более и более сознавать наше общество, но о котором правительство боялось и подумать. Мы видели, до какой степени назрел вопрос о запрещении продажи крепостных без земли, но полного ее запрещения не последовало, а только не позволено было разлучать при этом членов семейства, запрещено принимать крепостных без земли в обеспечение и удовлетворение частных долгов и покупать их без земли иначе, как с припиской к населенным имениям. Повинности крестьян были точно определены только в юго-западном крае. Для устройства быта дворовых не было принято никаких решительных мер, так как указы 1844 года в счет идти не могут; относительно предоставления крестьянам права собственности также ничего не было сделано, так как указ 3 марта 1848 г. был шагом не вперед, а скорее назад. Размеры выкупа, за который можно приобретать свободу, установлено не было. Распространение в 1847 году на всю Россию права выкупаться на свободу при продаже имений с публичного торга было отменено менее чем через два года. Указ

об обязанных крестьянах, как мера необязательная, не принес почти никаких плодов. Освободилось вследствие покупки имений в казну также незначительное число душ. Таким образом, за исключением частных, неполных мер относительно продажи без земли и ограничения повинностей лишь в одной местности России, не было сделано ничего серьезного, но очень важно то, что в николаевскую эпоху в правительственных сферах выработалось убеждение в необходимости наделения крестьян землей при уничтожении крепостного права.

В. И. Семевский.

«Крестьянский вопрос в России». Т. II, стр. 529–535 и 568–569.

Крестьянские бунты

Крестьяне Ярославской вотчины помещицы Щ-вой хотя бунта и не произвели, но упорно отказывались платить оброк и высказали неуважение начальству, даже самому гражданскому губернатору. Комиссия приговорила: 5 человек главных виновных наказать кнутом и сослать в Сибирь на поселение, одного, имеющего более 70 лет, сослать же, не наказывая кнутом; остальных 89 наказать плетьюми и батогами и оставить в вотчине, причем как только крестьяне при производстве наказания изъявят раскаяние, то наказание приостановить и объявить крестьянам все милостивейшее прощение; всего в вотчине была 441 душа мужского пола, комитет заменил наказание кнутом главным пяти виновникам, определив прогнать их два раза сквозь строй через 1000 человек. Положение Комитета было утверждено.

Крестьяне гродненских помещиков Ю-в за неповиновение приговорены были комиссией: главные виновники к наказанию плетьюми и ссылке в Сибирь на поселение, менее виновные — к наказанию плетьюми; комитет решил заменить наказание плетьюми прогоном сквозь строй через 500 человек по одному разу, что и было утверждено.

В другой раз комиссия приговорила 10 крестьян Ярославской вотчины 3-ва лишить живота; губернатор смягчил приговор, определив: троих более виновных наказать 30–40 ударами кнута и сослать в Сибирь, а остальных наказать плетьюми и оставить в вотчине. Комитет не только согласился с приговором губернатора, но и положил сделать строгий выговор членам комиссии за ее приговор. Положение комитета было утверждено.

В 1845 году крестьяне наследников Д-ва (Подольской губернии), недовольные управлением иностранца Шмидта, которому была вверена вотчина, после ночных совещаний в доме священника не только оказали неповиновение, но и не позволяли работать тем крестьянам, которые не участвовали в их заговоре. Потребовалось вмешательство войск, крестьян в вотчине числилось 2700 душ, и только после наказания 32 выдававшихся бунтарей население успокоилось. При следствии некоторые крестьяне оговаривали священника, будто он склонял их домогаться установления двухдневной барщины, но следствие обнаружило также и то, что экономия вотчины требовала с крестьян работы сверх указанной трехдневной барщины. Комиссия военного суда приговорила: одного крестьянина к наказанию 30 ударами плетью, клеймению и каторжным работам на 4 года; 14 крестьян — к наказанию 80 ударами розог и

арестантским ротам на 4 года; 29 человек — к наказанию 50 ударами розог, местного священника комиссия оставила в сильном подозрении, а управителя вотчины оштрафовала; один член военно-судной комиссии подал отдельное мнение: по его мнению, «возмущения» не было ни до приезда исправника, ни после его прибытия; между тем 37 крестьян было захвачено и посажено в тюрьму, и из них 18 человек в остроге; губернатор на последнее замечание объяснил, что столь значительная смертность произошла оттого, что престарелые крестьяне в изнурительном состоянии подверглись вдруг перемене воздуха и лишены были всякого движения. Генерал-губернатор Бибииков дал такое заключение: волнение между крестьянами было, они, вне сомнения, обнаружили непозволительную дерзость, но, во-первых, покорились власти скоро, а во-вторых, само волнение между ними возникло оттого, что они терпели несправедливости, о которых хотели спокойно объяснить сыну умершего их владельца, но последнему неугодно было выслушать их, тогда крестьяне искали защиты у посторонних, поэтому участь их заслуживает облегчения. На основании такого заключения министр внутренних дел предложил комитету назначить такие наказания крестьянам: одного главного виновного подвергнуть 80 ударам розог и сослать на поселение в Сибирь, остальных, наказав розгами, оставить на месте в вотчине; комитет согласился с этим определением, положив еще священника, подозреваемого в соучастии с крестьянами, перевести на другое место. Положение комитета утверждено было государем.

Помещик Симбирской губернии Гл-в наказал крестьянина розгами, наказанный бежал из заключения к отцу, у которого и умер на шестой день после наказания, по уверению помещика, от холеры. Помещик оправдывался тем, что распоряжение о наказании сделано было им в самом расстроенном душевном состоянии от грубости крестьянина. Трое соседних помещиков заявили, что они ничего, кроме хорошего, о Г-ве сказать не могут, что он один из попечительнейших и заботливых владельцев; собрание предводителей и депутатов дворянства решило: так как Гл-в никогда жестоко со своими крестьянами не обходился, то имение его, согласно закону, не может быть взято в опеку, а следует ему сделать замечание. Губернатор признал такое определение слабым ввиду того, что наказанный находился в заключении целую неделю. Сенат согласился с губернатором: поступок помещика, по его определению, подлежит уголовному суду, а начальству губернии следует удостовериться в положении крестьян. Определение Сената было принято комитетом и утверждено государем.

Крестьянки имения Д-каго (Тамбовской губернии) убили управляющего и изуродовали его труп. Не отрицая факта, крестьяне показывали, что покойный управляющий необыкновенно жестоко наказывал их, особенно женщин; следствие подтвердило показание крестьян; оказалось, что крестьяне и раньше жаловались и обращались с просьбами о защите, но за это были наказываемы: управляющий не отпускал их даже к исповеди без того, чтобы отлучающиеся не представили вместо себя другого работника. Сенат, постановив приговор, определил ходатайствовать о смягчении участи преступниц; комитет положил: зачинщицу преступления, наказав плетью, сослать на каторгу на 18 лет, девятерых крестьянок подвергнуть наказанию плетью и сослать на каторгу от 6 до 12 лет и 11 человек наказать розгами. Кроме того, положено было комитетом, что подлежат строгому взысканию: уездный предводитель дворянства, земская полиция и помещик Д-ой, державший такого управляющего. Государь написал: «Исполнить, но, кроме первой, прочих, приговоренных к каторге, отослать на поселение».

Один псковский помещик Н. и его жена изобличены были в крайне жестоком обращении с крестьянами и отягощении их работами. Сенат при разборе дела потребовал отзыва от предводителя дворянства, но тот отозвался, что он не получал ни от кого жалоб на этого помещика; комитет предложил: сделать предводителю выговор, а помещика и жену его предать суду. Резолюция: «Справедливо, а их судить арестованными».

Крестьяне отставного ротмистра П-ского принесли жалобу на владельца в том, что он будто бы неправильно владеет ими, так как он вовсе не племянник покойной их владелицы Самариной, а сын кучера Дмитриева; крестьяне требовали, что они терпят большие притеснения и что крестьянин Никифоров, обнаруживший это самозванство, был лишен жизни. Потребованы были сведения. Рязанский губернатор Кожин отвечал, что он не мог узнать ничего, что подтверждало бы жалобу крестьян; местный жандармский штаб-офицер, напротив того, донес, что ходят слухи, будто крестьянин Никифоров долго содержался под арестом на скотном дворе и там был отравлен дворовым человеком Петровым и его женой. Тогда губернатор назначил формальное следствие, командировав в вотчину чиновников, крестьяне заволновались и отказали владельцу в повиновении. Следствие обнаружило, что П-ский владеет крестьянами не по праву наследства, а по купчим 1840 и 1841 годов, что до сих пор им были довольны все крестьяне, что смерть Никифорова от яда вовсе не подтверждается, хотя Никифоров и долго содержался на скотном дворе под арестом, но посажен он был еще покойною

владелицей Самариной за побег. О личности П-ского следствие обнаружило следующее: он был воспитан в доме помещика Самарина, как сын дворянина П-ского, поступил потом на военную службу, в лейб-гвардии уланский полк, и в 1829 году за болезнь уволен в отставку, причем прописан: «Из орловских дворян», но в родословных книгах губернии Ипполит П-ский не значится. По сведениям от духовного начальства, открылось только то, что у Дмитриева, дворового человека помещика Самарина, записан сын Ипполит. Волнение крестьян продолжалось, и даже заметны были опасные признаки в окружающих вотчинах, поэтому управляющий Министерством внутренних дел предложил прекратить всякие расследования, так как П-ский имеет полное право на владение крестьянами, и, следовательно, розыски не должны иметь места. Комитет согласился с этим мнением. Государь сначала приказал дело «представить особо», а потом министру государственных имуществ велено было поступить с имением П-ского, как в 1845 году поступили с имением подполковника Татищева, купленным двумя братьями Чулковыми. Случай этот был следующий:

Дети Чулкова, дворового человека Татищева, получили дворянство и купили впоследствии имение Татищева, где некогда отец их был дворовым, и поселились в нем вместе со своим отцом. Крестьяне, опасаясь, как бы этот самый Чулков не стал их фактическим владельцем, жаловались, и государь разрешил дело так: «Чулкова-отца выслать из имения, кое взять в опеку, запретив и дворянам Чулковым жить впредь до решения дела. Все сие, а равно и записку о деле передать в Комитет министров с тем, чтобы имение сие было немедленно оценено и приобретено в казну, о чем заготовить указ».

Во избежание огласки имение Чулковых было куплено на имя тайного советника Небольсина.

Двое дворовых, Григорий Антонов и Афанасий Дементьев, двоюродные братья, крепостные помещика Могилевской губернии Л-ского, убили в один день, но в разных местах шестерых и ранили восьмерых человек дворянского сословия. Получив об этом известие в Петербурге, государь приказал: «Послать немедленно фл. ад. Баранова наистрожайше все дело исследовать, непременно убийц отыскать и по поимке учредить в имении военный суд как над ними, так и над их участниками и людьми, не препятствовавшими убийствам, суд же кончить в возможной скорости». Скоро преступники были пойманы; они показали следующее: 19 января 1846 года некоторые из дворовых людей помещика Л-ского ночью самовольно отлучились для

гулянья и вернулись домой 20-го на рассвете, за что один из них, Ивка Янишев, был наказан 20 розгами; услышав его крики, оба преступника сбегали за ножами и начали свою кровавую расправу в имении, убив нескольких родственников помещика, самого помещика им убить не удалось; затем они захватили в конюшне двух лошадей и поскакали к соседнему помещику П-му — не доезжая, привязали лошадей, вызвали господина через его лакея, и один из преступников, целуя руку П-ского, ранил его ножом в живот; на крик выбежала жена П-ского — несчастная подверглась той же участи; убийцы ворвались в дом, ранили гувернантку, которая стала было давать преступнику деньги, но они со словами: «Не нужны нам твои деньги», вышли на двор, сели на лошадей и, сказав людям П-ского, чтобы не спасали своего господина, ибо участь эта предстоит не одним их господам, но всем помещикам губернии, что крестьяне за это отвечать не будут, а что, напротив, сзади их скачут жандармы для проверки их действий, бежали из шестерых стоявших дворовых только один сделал попытку задержать убийц, но неудачно. Им удалось ранить смертельно и третьего помещика, К-ского и его жену; бывшие здесь дворовые пытались было их схватить, но опять неудачно. После всех этих убийств братья вернулись домой, заехали к мельнику, переменили платье и скрылись, но ненадолго, и 27 января были пойманы. По отзыву соседних помещиков, управление во всех трех имениях было хорошее, особенно у Л-ского, которому принадлежали преступники и где они начали убийства. Сами убийцы — незаконнорожденные, более работали на себя, чем на господина, имели некоторое состояние; первый брат умел читать, а второй — читать и писать и по-русски, и по-польски; оба домогались и прежде свободы, разглашая слухи об освободительных указах и инвентарях, оба грозили и прежде бунтом. Преступники показали, что они совершили преступление без уговора, в исступлении, они схватили ножи, чтобы не допустить себя до телесного наказания. Комиссия военного суда приговорила обоих убийц прогнать сквозь строй через тысячу человек шесть раз и затем отправить на каторгу; двоюродного брата их — через тысячу же два раза и заключить навсегда в арестантские роты; троих, обвиненных в соучастии, — через тысячу по одному разу и заключить в арестантские роты на 4 года, а затем сослать в Сибирь на поселение; следующую категорию обвиненных наказать 100–300 ударами розог и оставить на месте жительства; одну дворянку, которая слышала разговоры о бунте и не донесла о них, комиссия присудила подвергнуть тюремному заключению на два месяца.

Губернатор секретно донес белорусскому генерал-

губернатору следующее: совершенное преступление служит предметом разнородных нелепых толков, которые все сводятся на одну тему — ниспровержение помещичьей власти, и потому, чтобы положить предел бессмысленным и крайне вредным рассказам дворовых людей и крестьян и успокоить обьятых страхом помещиков, он, губернатор, предлагает наказать убийц шпицрутенами без отдыха 9 тысяч раз; в секретном донесении генерал-губернатору губернатор полагал еще: по наказании преступников вывесить трупы их на местах преступления и предписать, чтобы на месте наказания было по крайней мере по двое крестьян из тех имений, где крестьяне были замечены в неповиновении.

Генерал-губернатор кн. Голицын, находя, что совершенные преступления выходят из круга обыкновенных дел, так как преступники не только отыскивали личную свободу, но и стремились ниспровергнуть помещичью власть, предлагал: исполнив над преступниками обряд приготовления к смерти, наказывать шпицрутенами до 9 тысяч раз и усилить наказание другим осужденным.

Министр внутренних дел в комитете объяснил, что есть секретное высочайшее повеление, которым запрещено давать более 3 тысяч вместо определенных в законе 6 тысяч раз шпицрутен, но в данном случае применение негласного повеления имело бы значение облегчения участи преступников, чего они вовсе не заслуживают; кроме того, в 1845 году утверждено было положение комитета, которым наказаны были убийцы купца Е. 6 тысячами шпицрутен, и такое же наказание положено всем умышленным поджигателям; наказывать «без отдыха» нельзя, потому что дозволяется давать за раз не более того числа ударов, сколько может выдержать наказуемый, а затем следует ожидать его выздоровления. Принятие предложения гражданского губернатора может принести скорее вред, чем пользу; в общем, из дела видно, что преступники действовали в порыве внезапного ожесточения и ярости, а не по уговору, хотя, конечно, нельзя отрицать явной ненависти их к помещичьей власти.

На этих основаниях гр. Перовский предлагал: 1) убийц подвергнуть наказанию, согласно приговору комиссии;

2) двоюродного их брата Якимова наказать 100 ударами розог и сослать в арестантские роты на 6 лет; 3) крестьян и дворовых, виновных в незадержании убийц, наказать 50–100 ударами розог и оставить в имениях; 4) этому наказанию не подвергать слабоумных и дряхлых из них, вменив им в наказание содержание под стражей, и, наконец, не запрещать владельцам

всех этих крестьян и дворовых, если они не желают иметь их у себя, отдать их в солдаты или сослать на поселение. Комитет министров согласился вполне с заключением гр. Перовского; мнение комитета было утверждено государем.

В Витебской губернии тоже происходили весьма значительные беспорядки; для исследования причин беспорядков командирован был туда фл. ад. Опочинин. Свидетельствуя о водворении спокойствия и о том, что крестьяне уже просили прощения, Опочинин прибавил, что, по его наблюдениям, крестьяне больше сожалеют о своей необдуманности, с которой они распродали скот свой и расстроили свои хозяйства, чем раскаиваются в своей непокорности. Не только в волновавшихся уездах, но и в соседних с ними умы все еще в брожении, а мысли о свободе посеяны везде: народная толпа перетолковывает в этом смысле каждую правительственную меру, даже каждое действие частных лиц; только одно продолжительное пребывание войск может, и то только на время, предупредить беспорядки. Нравственность крестьян, по мнению Опочинина, совсем упала, главным образом вследствие корчемства; помещики на опыте удостоверились в ненависти к ним иноплеменных и иноверных им крестьян и начинают убеждаться в необходимости коренного изменения в крепостном праве; но мнение сие, замечает Опочинин, принимается не единогласно; некоторые из владельцев безвозвратно разорены и в 1848 году принуждены будут кормить крестьян, для чего у них нет никаких средств; они не смеют и не могут даже рассчитывать на монаршее милосердие, столь благодетельствовавшее их в течение последних лет; гр. Виельгорский, например, был бы готов отдать правительству свое имение, но такое «отчаянное» желание не может быть исполнено, ибо было бы опасным осуществлением крестьянских надежд. Генерал-губернатор кн. Голицын по поводу этого донесения представил свои объяснения несколько более успокоительного характера; брожение крестьянских умов несколько успокоилось, но вполне еще есть, и в умах мысль о свободе держится крепко, хотя присутствие войск оказывает свое влияние; вредное влияние, которое корчемство оказывает на нравственность крестьян, будет уничтожено после введения акцизной системы продажи питей, что уже предположено сделать; иноверность и иноплеменность помещиков и крестьян действительно разделяют оба сословия, и первые мало обращают внимания на положение последних, относятся к ним строго, иногда жестоко, но введение инвентарей и предоставление министерству государственных имуществ права покупать неисправные имения может улучшить положение

крестьян.

С. М. Середонин. «Исторический обзор деятельности Комитета министров». СПб, 1902, т. II, ч. 1, стр. 333–337 и 357–360.

Бунт удельных крестьян в 1838 году

Возвращаясь из Саратова в Симбирск, я поехал по берегу Волги, это было в конце Вербной недели. Проезжая Сызранский уезд, узнаю — бывшие казенные, теперь удельные крестьяне бунтуют; по рассказам, уже тысяч до восьми не повинуются. Такие бунты разливаются, как пожар. Я — к губернатору Хомутову, оказалось, что он ничего не знает. Я предложил и торопил Хомутова, чтобы он обделал дело на Страстной, пока народ весь трезв. Хомутов упросил меня ехать с собой. С ним отправился правитель его канцелярии, Раев.

Приехали в главную бунтующую деревню, названия не помню. Народу очень много. Ловкий мой жандарм, через какого-то родню, отставного солдата, узнал, что главный бунтовщик Федька, и указал мне его. Мужичонка небольшой, плотный, лет 35-ти, в синем кафтане, красный кушак, сапоги с напуском и новая шапка из мерлушки. Стоит козырем, около него кучка народа.

Рано утром, через сотских, я приказал собраться крестьянам, что им будет читать закон губернатор. Послушались, собрались и стали вроде фронта. Я сказал губернатору, что, проходя по ряду, против главного коновода Федьки я кашляну, но советую не трогать: при массе и бранить не должно, а всякое действие опасно. Проходя — Федька стоял в середине ряда, — я только кашлянул, как губернатор остановился, вызвал Федьку и молодцом крикнул:

«Кнутьев! Вот я покажу тебе, как бунтовать! Раздеть его!»

Только тронулись за Федьку, как вся масса гаркнула и бросилась выручать Федьку. Мой храбрый губернатор бежал, Раев — за ним. Толпа с криком гналась за ними, и губернатора с правителем выгнали за околицу. Я остался на месте: крик, шум, я только указываю, чтобы не дотрагивались до меня, никто не дотронулся; напирают задние, около меня падают, смотрят на меня добро и смеются. Разошлась толпа, я нашел губернатора в постели: болен, кровавая дизентерия.

Вижу: дело очень плохо; послал за солдатами с боевыми патронами и приказал явиться 12-ти жандармам без коней. Целую ночь придумывал, какую бы штуку выкинуть, а без штуки нельзя, потому что силы нет. У татар вывезли меня богатые торговцы, а тут нет богатых и нет трех-четырёх жен у них. Проклятые русопетки, преупорные и озлобленные, а что еще хуже, раскуражились победой над губернатором. На всякий случай приказал исправнику собрать побольше понятых и отставных.

Против церкви стояли отдельно пять домов, по обыкновению, рядом с крытыми дворами, внутри разгороженными плетнем; плетни выломать, и образовался один крытый двор из пяти. Понятых спрятать ночью во дворе. Заготовить веревок и розог.

Рано утром приехали команды. Спиною к домам, в одну шеренгу, выстроил 40 солдат, между церковью и солдатами собрал бунтовщиков, сказал им убедительную речь и спросил: повинуются ли? В один голос: нет, не повинuemся!

— Вы знаете, ребята, по закону я должен стрелять.

— Стреляй, батюшка, пуля виновного найдет, кому что Бог назначил.

— Слушайте, братцы, — я снял шляпу и с чувством перекрестился на церковь, — я такой же православный, как и вы, стрелять никогда не поздно, мы все под Богом; может, найдется невинный, то, убивши его, дам строгий ответ Богу, пожалейте и меня, а чтобы не было ошибки, я каждого спрошу, и кто не покорится, тот сам будет виноват.

Обратился к первому:

— Повинуешься ты закону?

— Нет, не повинуюсь.

— Закон дал государь, так ты не повинуешься и государю?

— Нет, не повинуюсь.

— Государь — помазанник Божий, так ты противишься Богу?

— Супротивлюсь.

Крестьянина передал жандарму со словами: «Ну так ты не пеняй на меня!» Жандарм передал другому; жандармы были расставлены так, что последний передавал во двор, там зажимали мужику рот, набивали паклей, кушаком вязали руки, а ноги веревкой и клали на землю.

Я имел терпение каждому мужику задать одни и те же вопросы, и от каждого получил одинаковые ответы, и каждого передал жандармам, и каждого во дворе вязали и клали. Процедура эта продолжалась почти до вечера. Последние десятка полтора мордвы и русских покорились, их отпустил домой. Ночь не спал, не пил, не ел, сильно устал, но в таких делах успех зависит от быстроты.

Пришел во двор, все дворы устланы связанными бунтовщиками.

— Розог! Давайте первого.

Выводят старика лет 70-ти.

— Повинуешься?

— Нет!

— Секите его.

Старик поднял голову и просит:

— Батюшка, вели поскорей забить.

Неприятно, да делать нечего, первому прощать нельзя, можно погубить все дело. Наконец старик умер, я приказал мертвому надеть кандалы.

Один за другим, 13 человек засечены до смерти, и на всех кандалы. 14-й вышел и говорит:

— Я покорюсь.

— Ах ты негодяй, почему ты прежде не покорился? Покорились бы и те, которые мертвы. Розог! Дать ему 300 розог.

Это так подействовало, что все лежащие заговорили:

— Мы все покоряемся, прости нас.

— Не могу, ребята, простить, вы виноваты против Бога и государя.

— Да ты накажи, да помилуй.

Надобно знать русского человека: он тогда искренно покорен и спокоен, когда за вину наказан, а без наказания обещание его ничего не стоит, он тревожится, ожидает, что еще с ним будет, а в голове у него — семь бед, один ответ, того и гляди, наглупит. Наказанный — боится быть виноватым вновь и успокаивается.

Приказал солдатам разделиться на несколько групп и дать всем бунтовщикам по 100 розог, под надзором исправника. Потом собрал всех, составил несколько каре и объявил:

— Я сделал, что мне следовало сделать по закону, простить их может только губернатор; он может всех в тюрьму, там сгниете под судом.

— Батюшка, будь отец родной, заступись, как Бог, так и ты, перемени гнев на милость. Я поставил их на колени, научил просить помилование и дал слово, что буду ходатаем за них, но губернатор очень сердит.

Кричат: «Заступись, батюшка, выручи!»

Прихожу к губернатору, лежит болен, не знает, что я делал. Мне доложили, что засеченные ожили, их обливали водой, и я повеселел. Говорю губернатору:

— Пойдемте прощать.

Не верит.

— Только прошу, долее сердитесь, не прощайте, а простите только под моим ручательством за ним.

Подходя к фронту, губернатору, хотя и штатскому: «На караул!» Барабанщик две дроби: «Здравия желаем вашему превосходительству!» — все для эффекта. Подходим к группам, я снял шляпу и почтительно, низко кланяюсь, представляю раскаявшихся. Виновные в один голос:

— Помилуй, ваше превосходительство!

— Не могу, вы так виноваты, что вас следует судить.

А мужики, кланяясь в землю, твердят:

— Помилуй, ваше превосходительство, ни впредь, ни после того не будет.

А я-то униженно, без шляпы, кланяюсь и прошу помиловать. Губернатор гневно сказал, что он бунтовщикам верить не может и согласится тогда, если кто за них поручится.

Я обернулся к мужикам: ручаться ли за них?

Как заорут в один голос:

— Ручайся, отец, небось, не выдадим, ручайся, батюшка.

— Ребята, смотри, чтобы мне не быть в ответе за вас.

— Отец ты наш, вот те Пресвятая! Положим жизнь за тебя, ручайся!

Я поручился. Губернатор умилился, простил.

Я распустил всех по домам, приказал сотским накормить солдат и жандармов. Откуда что взялось: снесли столы, зажгли лучины, явились десятками горшков щей, каши, кисели с сытой, все постное; вероятно, было готово для мужей, но им не удалось поесть, съели солдаты. В тюрьму пошел только один Федька.

Из воспоминаний Стогова.

Русская Старина, 1878, декабрь.

Глава VI

Войско

Под влиянием событий 14 декабря 1825 года, с первых же дней царствования Николая Павловича в основание военного воспитания были положены самая крайняя дисциплина и затем строгость, которая теперь способна привести в ужас. Из числа нескольких приказов, отданных по кадетским корпусам в то время, когда поэт говорил:

В надежде славы и добра
Глядим вперед мы без боязни...

приведу для примера только два. Несмотря на грубость поступков провинившихся воспитанников Дворянского полка, определенные им наказания не могут не казаться жестокими Вот эти приказы.

23 сентября 1826 года

«В полученном сего числа от главного директора пажеского и кадетских корпусов приказе за № 19 значится: «Военный министр генерал от инфантерии граф Татищев отношениями от 15-го сего сентября за № 6966 и 6971 уведомил меня для надлежащего исполнения, что Государь Император высочайше повелеть соизволил:

1) дворянского полка дворянина Николая К-ва за сделанные им против ротного командира своего штабс-капитана Жукова слушание и дерзкий поступок, наказав перед дворянским полком розгами, выписать, в пример другим, рядовым в один из армейских полков с выслугой; и 2) дворянского же полка дворянина Льва И-ва, ударившего учителя французского языка Б-ва в присутствии всего класса по щеке, наказать перед 2-м кадетским корпусом и дворянским полком розгами, дав 200 ударов, и потом выписать, в пример другим, в 46 егерский полк рядовым».

«Таковую Монаршую волю предписывается привести в надлежащее исполнение и предлагается: по учинении означенным дворянам К. и И. назначенного им наказания, исключить их из списков и с подлежащими сведениями установленным порядком отправить: первого в город Тавастгус к начальнику 23-й пехотной дивизии генерал-лейтенанту Теглеву для определения на службу в один из полков сей дивизии, а последнего в г. Або к командиру 46-го егерского полка для

определения в оный на службу».

3 октября 1826 года

«Г. главный директор пажеского и кадетских корпусов от 28 сентября сего года за № 21 изволил отдать следующий приказ: военный министр генерал от инфантерии граф Татищев отношением от 23 сентября за № 7176 уведомил, что Государь Император высочайше повелеть соизволил: дворянского полка дворян Николая Д-ва, Григория С-ва и Ивана Б-ки за леность, нерадение их к службе и наукам и ослушание против начальства наказать перед Дворянским полком розгами, дав первым двум по 100 ударов, каждому, а последнему 500 ударов и потом из них Д. и С. выписать рядовыми в полки отдельного Финляндского корпуса, а Б. за буйство и дерзкий поступок против батальонного командира полковника Б-на, коего он намеревался ударить палкою, передать военному суду с тем, чтобы он был лишен дворянства и послан в арестантские роты в крепостную работу» и проч.

Такие приказы (а их в делах найдется не два) давали, так сказать, тон всей системе воспитания, который, к несчастью, не один год держался в кадетских корпусах. Еще в 1831 году император Николай, принимая депутацию новгородских дворян, говорил им: «Размыслите хорошенько о воспитании детей ваших; надобно изменить систему. Я велел выстроить в Медведе корпус, и он уже строится, собственно для детей ваших, у меня не избалуются они»^[7].

Только благодаря уму и доброму сердцу великого князя Михаила Павловича тон этот начал мало-помалу смягчаться и исподволь принимать другое направление.

В 1832 году, после смерти Демидова, главным директором кадетских корпусов был назначен генерал-адъютант Сухозанет. Ничего не могло быть неудачнее такого выбора. Вот как характеризовал Сузозанета командир гвардейского корпуса кн. Васильчиков в письме к товарищу и сослуживцу своему кн. П. М. Волконскому: «Вы знаете, любезный друг, Сухозанета. Он талантлив, но не может заставить себя любить. Я ему должен отдать справедливость, что с тех пор, как он командует артиллерией, она очень много доиграла, но я всегда в тревожном ожидании новых историй, потому что он не умеет требовать, не задевая самолюбия, и заставляет себя ненавидеть. Я ему при каждом случае читаю нравоучение об этом, и ежели он будет продолжать затевать истории, я буду принужден просить расстаться с ним». Это было сказано в 1821 г., когда Сухозанет

командовал артиллерией гвардейского корпуса. Замечание кн. Васильчикова, что он «не может заставить себя любить», а, напротив «заставляет себя ненавидеть», оказалось справедливым и вполне подтвердилось, когда вверили его руководству военно-учебные заведения. Вот несколько приказов его, судите сами.

27 апреля 1834 г. № 38

«За совершенное ниспровержение в 1-м кадетском корпусе правил службы при отпуске воспитанников со двора, бывшее причиною постыдного беспорядка, предписываю командира 2-й мушкетерской роты капитана П* устранить от командования ротою впредь до приказа и арестовать его на трое суток при корпусе. Бывшего дежурным по корпусу капитана С* арестовать на двое суток, тоже при корпусе. Дежурного по роте поручика Г*, который, по существу дела, оказался более всех виновным, предписываю содержать при корпусе впредь до получения разрешения Его Императорского Высочества на представление мое о переводе его в армию тем же чином.

Для сделания известным по всем военно-учебным заведениям подробностей сего происшествия будет сделано, по миновании праздников, особое распоряжение».

В чем состояло это происшествие, совершенно ниспровергавшее правила службы, — осталось неизвестным.

8 июня 1834 г. № 59

«По дошедшим до меня сведениям по службе, делаемым господами офицерами дворянского полка, предписываю командиру оного полковнику. Пушину не послаблять никому ни малейшего беспорядка под личною его за сие ответственностью. Чем звание виновного выше, тем взыскание должно быть строже. Опаздывающих к должности или на ученье приказываю тотчас арестовывать при полку и, впредь до отмены сего моего распоряжения, каждый раз мне о сем доносить, дабы я мог, по своему усмотрению, увеличить меру взыскания соответственно важности звания виновного, причем я предварю всех и каждого, что подобные беспорядки, непростительные офицеру военно-учебных заведений, будут рассматриваемы мною не как случайные упущения, но как пример неповиновения и нарушения субординации» и проч.

Июля 31 дня 1834 г. № 84

«Служительской роты 1-го кадетского корпуса рядовой Степан Пономарцев, ставши на колени и остановив меня на

улице, осмелился принести жалобу на ближайшее свое начальство. По поручению моему генерал-майору барону Шлиппенбаху об исследовании сего дела, оказалось, что принесенная рядовым Пономарцевым жалоба была преувеличена и что не токмо в настоящем случае, но и прежде сего был неоднократно замечен в ослушании против начальства и в нерадении к своей должности. А посему за столь дерзкий и буйный поступок рядового Пономарцева, осмелившегося принести жалобу непозволительным для солдата образом, нарушающим основные правила субординации, предписываю полковнику Слатвинскому лишить его нашивки, а исправляющему должность дежурного штаб-офицера по отряду полковнику Святлову, при собрании всех нижних чинов отряда, наказать рядового Пономарцева 400 ударами розог (то есть тем числом, которое осмелился он неправильно показать в принесенной им жалобе). О выписке сего рядового из служительской роты 1-го кадетского корпуса будет от меня представлено Его Императорскому Высочеству».

7 сентября 1834 г. № 99

«Из представленных ко мне за минувший август месяц списков о воспитанниках подведомственных мне военно-учебных заведений, подвергшихся за учиненные ими проступки взысканиям, замечено мною, что:

1) 1-го кадетского корпуса 3-й мушкетерской роты кадет Я* за то, что, будучи неопрятно одетым, с расстегнутым воротником у куртки, встретясь с дежурным офицером и не изъявив по приказанию его готовности тотчас оправиться, прошел мимо, был наказан 15 ударами розог и посажен в уединенную комнату на три дня;

2) 2-го кадетского корпуса кадеты роты Его Высочества (поименованы 8 человек) и 1-й мушкетерской (4 человека) за то, что во время перехода от колоний до деревни Автовой неохотно выходили по приказу батальонного командира петь песни, не увольняя к родственникам на 10 дней;

3) прикомандированный к дворянскому полку Московского кадетского корпуса кадет С. за то, что не был отпущен штабс-капитаном Петерсоном из первого батальона во второй, при выходе его из каморы осмелился сказать, что он уйдет, наказан 50 ударами розог.

Хотя поступки сих воспитанников я и отношу к детским шалостям, могущим иногда быть принятыми в снисхождение по уважению к неумышленности и молодости, но как вышеозначенные три случая заключают неповиновение

подчиненного к начальнику, которое всегда должно быть наказываемо строго и всегда, сколь можно, гласно, то предписываю: кадета Я. наказать еще, при собрании корпуса, 50 ударами, кадетов 2-го кадетского корпуса, во 2-м пункте поименованных, не отпускать со двора впредь до разрешения моего или по случаю отъезда моего, имеющего исправлять мою должность; кадета С., как уже назначенного к выпуску в офицеры, отставить от одного до будущего представления. Приказ сей прочитатъ во всех ротах воспитанникам подведомственных мне военно-учебных заведений».

«Воспоминания московского кадета. 1833–1834»

Русский архив, 1880, т. 1, стр. 466–9.

Полковой командир николаевского времени

Первое понятие о действительной фронтовой службе я получил гораздо ранее поступления в полк. Первое впечатление было очень неприятное. Я был еще ребенком, когда мне пришлось увидеть на практике самую грубую, безотрадную форму телесного наказания в войсках — так называемую «зубочистку» — по мягкому офицерскому выражению. (Солдаты говорили: «зуботычина». Это проще и прямее.)

Воспоминание относится к 1844 году, то есть к первой године моего воспитания в Пажеском корпусе. В одно из воскресений развод с церемонией предстоял от Преображенского полка, и наш крохотный пажеский караульчик привели в манеж на репетицию развода. Левый фланг преображенцев стоял от нас в нескольких шагах, и к этому-то левому флангу, в конце репетиции, подлетел тогдашний Преображенский отец-командир, генерал-майор Жерков. Кулак у него был огромный, и действовал он этим кулаком очень оригинально: «костяшками» (то есть костистыми выступами оснований пальцев) генерал громил виновного по спине, по шее или по скуле, а иногда костяшки проезжали по целой шеренге и разбрасывали, подобно ядру, целый полувзвод, что и действительно случилось раз, на двенадцатирядном учении.

Генерал-майор Жерков наглядно представляет отживший, но характерный тип полковых командиров былого времени. Начнем с него, потому что это тип — образцовый.

Генерал-майор Александр Васильевич Жерков выслужился из кантонистов и, без всякой протекции, дослужился до звания командира образцового полка. Полк этот был в то время рассадником учителей для всей русской армии, конечно фронтовых учителей, так как, кроме фронта, почти ничего не требовалось. В образцовый полк назначали самых крепких, сильных, здоровых людей из всех полков, доводили их до фронтового совершенства и возвращали в полки для обучения. Понятно, что командир такого полка, получив Преображенский, после Мунка, живо подобрал поводья, распушенные предшественником... Но прежде всего нарисую портрет. Наружность Жеркова напоминала пословицу: «Не ладно скроен, да крепко шит». Он был высокого роста, широкоплечий, несколько сутуловатый. По лицу и фигуре он воплощал тип службиста тогдашней эпохи. Седые волосы были зачесаны по форме, вперед и несколько приподняты с одной стороны

хохолком. Лицо широкое, скуластое серые глаза и густые брови, почти черные, без седины, характерно его оттеняли. Прибавьте к этому два пучка подбритых и нафабранных усов и бакенбарды, тоже подбритые по форме, то есть в уровень с усами. Вот — Жерков! Впрочем, общее выражение лица его было симпатично. В нем проглядывала добрая, широкая, истинно русская натура, которую формалистика держала в оковах. Но природа вырывалась на волю, когда Жерков разражался громким, басистым хохотом, и долго еще потом веселое выражение удерживалось в его лице, как будто нехотя уступая место официальному. Жерков принялся за дело энергично. Солдат он начал потчевать такими зубочистками, что они на всю жизнь сохранялись в памяти не только получателей, но и тех, кому привелось смотреть на них со стороны. Розог генерал тоже не жалел, а по тогдашним условиям полномочие командира полка простиралось до права дать солдату 800 ударов.

Если розог не было под рукой, Жерков нисколько не затруднялся. Мне рассказывали, что однажды, в Славянке (загородное расположение полка), он остановил на улице роту, шедшую в беспорядке, вызвал фельдфебеля перед фронт и тут же, в стоячем положении, велел дать ему несколько десятков фухтелей, плашмя — тесаками. Если так расправлялись с фельдфебелем, то что же могли ждать рядовые, и они это отлично понимали! И все-таки же не розгами и не кулаками импонирует Жерков. Несправедливые, бестолковые наказания даже и в ту эпоху не пугали, а только ожесточали солдат. Но в том-то и дело, что Жерков никогда не наказывал несправедливо или неосмотрительно. Его зоркие серые глаза имели способность пронизывать и развернутый и густой строй.

Никакая шеренга, никакой закоулок не могли скрыть ленивца или разгильдяя-солдата. Жерков сейчас же распознавал и выкрикивал его по имени:

— Мануил Максак!.. Ты думаешь, что я тебя, бестию, не вижу?.. Виж-ж-ж-у, образина ты этакая, ленивая!..

Последние слова гремели, как раскат грома; Жерков вкапывался в третью шеренгу, откуда раздавался страшный для солдат звук «зубочистки». Такова была домашняя расправа она в то время производилась решительно всеми начальниками, с весьма редкими исключениями, но, конечно, не выписывалась в полковых приказах. Вообще, перечитывая приказы того времени, можно изумиться видимой умеренности цифры штрафованных. Например, в полковых приказах 1848 года, до 28 апреля, подписанных еще Жерковым, встречается в течение целого месяца не более трех или четырех случаев взысканий во всем полку.

Главными, официальными проступками были: самовольные отлучки, кража, пьянство и буйство. Провинившихся в гренадерских ротах обыкновенно смещали в фузелерные, но в приказе упоминалось только о смещении. Впрочем, если виновный гренадер кроме перевода наказывался еще розгами перед фронтом, то взыскание мотивировалось и в приказе. Привожу образчик: «Роты Его Высочества (3-й гренадерской) рядового Кононова, за чрезмерное пьянство и намерение продать с себя новую казенную шинель, предписываю наказать перед батальоном 300 ударами розог»...

За воровство Жерков охотнее всего переводил в армию, и в приказах упоминалось только о переводе за дурное поведение, без дальнейших упоминаний о взысканиях и без всяких разъяснений. Наконец, под суд нижние чины отдавались большей частью за побеги, за кражу значительных сумм и тому подобные крупные вины. По всему этому всякий, хотя несколько знакомый с гвардейской службой того времени, будет крайне недоверчиво смотреть на умеренность официальной цифры штрафованных нижних чинов. Почти безошибочно можно сказать, что 70 % всех штрафов производились домашним образом, и не трудно понять, почему: за каждой проступок рядового, дошедший до сведения высшего начальства, подтягивался не один виновный, но и все его ближайшие начальники. Я уже не говорю о том, какие бывали последствия, если кто попадался самому государю. Наглядным примером может служить следующий подлинный факт. Случилось, что император Николай был в Большом театре. Шел какой-то балет, и неизвестный обожатель одной из танцовщиц пришел в такой восторг, что неловко брошенный им огромный букет зацепил царскую ложу. Государь разгневался и тотчас же уехал. Проезжая мимо Конногвардейского переуллка, император услышал пронзительный женский крик: «Караул!.. Разбой!..» Он приказал кучеру завернуть в переулок и там застал врасплох рослого конногвардейского солдата, очень хмельного. Солдат бил какую-то женщину и тащил у нее с головы платок. Государь вышел из саней и прямо пошел к месту сцены, но солдат, увидевший грозный и величественный образ царя, шмыгнул в ближайший темный подъезд и спрятался там в углу, но государь последовал за ним, отыскал буяна, схватил его за погон, привел на ближайший двор казарм и крикнул: «Дежурного!..»

Так звучен и так могуч был этот богатырский крик, что не только дежурные, но и сам командир полка, генерал-майор Ланской, выбежали на двор. Государь все еще держал за погон провинившегося солдата и только при появлении Ланского оттолкнул его от себя со словами: «Вот тебе твоего полка

безобразник! Возьми-ка да полюбуйся на него!» Император рассказал в коротких словах всю историю, сильно выговорил за нее Ланскому, велел рассадить всех дежурных по гауптвахтам и уехал. Не говоря о примерном телесном наказании виновного, его эскадронный и отделенный командиры отправлены под арест. Командиру полка объявлен строжайший выговор, так же как и бригадному, принцу Гессен Дармштадтскому, и даже начальнику дивизии, генералу Эссену, было сделано замечание.

Вот почему так сильно и единодушно было желание начальников избегать официальной огласки. Солдаты сами предпочитали домашнюю расправу ненавистной им розыскной и судной системе, из-за которой, как они выражались, «служба пропадает!». Жерков был такого же мнения, и за это обожали его солдаты. Наконец, и как ни странно сказать, но к утайке преступлений побуждало отчасти желание пощеголять исправностью своей части в нравственном отношении!

Подтягивая солдат, Жерков также круто муштровал и господ офицеров. В начале командования полком замечания и выговоры из его уст были крайне жестки и грубы. Вот образчики: «Прапорщик такой-то! Вас, кажется, скотину унтер-офицер учит, так дайте же ему за это хоть целковый!» Или: «Помилуйте, поручик, вы из устава и в зуб толкнуть не можете!.. Да приложите же руку ко лбу, когда начальник с вами говорит!..» А то вот еще, в таком роде: «Прапорщикам Ушакову и Молостову — нуль за фронт!.. Вам хоть весь день толкуй, все повираете!.. С вами надо говорить... поевши!..»

Как все неразвитые люди, необузданные воспитанием, Жерков нарывался на резкую отповедь. Один из офицеров, Б-ский, на любимое замечание Жеркова, что унтер-офицер умнее его, Б-ского, смело ответил: «Да у нас, ваше превосходительство, всегда так! Подчиненные несравненно умнее своих начальников!» Кроме энергических замечаний и внушений, Жерков держал офицеров в руках более ощутительными мерами, наряжая их или «приглашая», как он говорил, на два или на три десятка лишних дежурств. Рассказывали мне, что он положительно выжил из полка одного из офицеров, Б-на, именно — приглашением на 30 дежурств.

Но офицерам, так же как и солдатам, Жерков был страшен не взысканиями, а справедливостью и беспристрастием. Он гнал и преследовал, без пощады, только таких офицеров, которые надевали мундир лишь для того, чтобы щеголять в нем и славиться блестящим положением в обществе, а к службе относились самым небрежным и беззастенчивым образом. Да, впрочем, пусть засвидетельствует официальный документ о том,

какого рода офицеров подтягивал и преследовал Жерков. В приказе от 25 апреля 1848 года было оповещено следующее происшествие. «Стоявший, 23-го числа сего апреля в карауле, в артиллерийской лаборатории, прапорщик Сухозанет, в 7 часов вечера поручив караул бывшему в оном за старшего 9-й роты унтер-офицеру, Трифону Яковлеву, сам уехал в Большой театр и возвратился на свой пост только по окончании спектакля. За такое отступление от порядка службы прапорщик Сухозанет арестовывается мною на гауптвахте впредь до окончания над ним следствия». Вообще, судя по приказам, официальные взыскания делались Жерковым преимущественно после караулов, парадов и смотров, вообще только в случаях, когда проступок получал такую огласку, что замять дело не было возможности. На домашних же учениях исключительно преобладала патриархальная расправа, а на нее командир полка был великий мастер. Офицеры совершенно верно говорили, что на ученьях Жерков был умерен лишь до первого пота. Но как только его вгоняло в испарину, он ожесточался, начинал колотить солдат и грубо кричал офицерам: «Господ прошу ногу держать!.. Равняться в заслонку!..^[8]

Подпоручик Н-в!.. Куда вы смотрите?.. Ворон считаете! Идите в затылок!.. Прапорщик Т-кий!.. Перемените ногу... ведь вы во фронте ходите, а не по Невскому шляетесь!» и прочее — все в том же роде. Compliments Жеркова были так же своеобразны, как и его распекания. Один раз он сказал Веловзору, после церемониального марша: «Фу, каким вы *ананасом прокатили!*..»

...В конце концов, могу повторить, что генерал Жерков блистательно оправдал выбор государя не потому только, что поставил полк первым номером по фронту, даже не потому, что он, при всем том, сберег и здоровье солдат, но, главное, потому, что превратить распущенный полк в образцовый было чрезвычайно трудно, так как непрактичные, неудобноисполнимые условия тогдашнего фронтового обучения были одинаково тягостными для учителей и для учащихся. Солдат держал ружье не в правой руке и не наклонно, как теперь, а, напротив, — отвесно и прямо, в левой руке, так что ствол и штык торчали вверх, перпендикулярно плечам.

Известно, что почти у каждого человека левая рука гораздо слабее правой. Поэтому у солдата, поднимавшего, при тихом шаге, ногу на пол-аршина от земли, вся левая сторона лишалась точки опоры, так что он инстинктивно кривился направо, чтобы не лишиться равновесия; когда же левая нога вновь опускалась на землю, солдат опять-таки невольно прислонялся к ружью и выгибал левый бок вогнутой линией. Такие искривленные фигуры

начальство называло «кренделями» и приказывало их выправлять до отвесного положения. Но стойка — это ведь только начало премудрости. Надлежало обучить каждого рядового ружейным приемам, а их было 48; каждый прием дробился на несколько темпов, а темпы — на подразделения. Кроме того, следовало обучить маршировке тихим, скорым, вольным и беглым шагом, — и это все еще не беда! Настоящая муштра начиналась с того дня, когда приходила пора сводить и прямолинейных, и «кренделей» в ротный, батальонный и полковой строй. Тут уже задача усложнялась до крайности: надо было добиться, чтобы каждый солдат метал ружье и маршировал, как все остальные, и, наоборот, чтобы вся масса манипулировала и двигалась, как один человек! Между тем в полутемном манеже, а особенно на плацу, при солнечном освещении, правильность ружейных приемов, при большом протяжении фронта, контролировать было неимоверно трудно. Несогласие или неправильность темпов выражались разве неровными переливами света и тени от штыков и стволов или же шероховатым, нескладным дребезжанием шомполов и ружейных лож. Да и недостаточно было подметить неправильность, следовало еще понять ее причины, то есть происходит ли она от невнимания или же от неумелости и лишней суеты?

Вот тут-то Преображенский отец-командир являлся мастером своего дела. Ястребиный глаз Жеркова быстро подмечал подобные явления и в тот же миг распознавал их причину. Он голосил громовым басом: «От-ста-вить!..» И сейчас же принимался читать мораль: «Седьмой взвод, протоканальи!.. Спячка на вас напала?.. Ну, смотри, как бы я вас не разбудил!.. А во втором взводе горячку порют?.. Ведь сказано: выдерживай!..» Да что я, сто раз вам буду повторять, что ли?!» Он даже не оставлял в покое замыкающих унтер-офицеров, то есть людей, запрятанных за тремя шеренгами, у самой стены манежа. Жерков все видел и кричал: «Караськов! Караськов!.. Ты воображаешь, что я не вижу, как ты там ружьем помахиваешь? Ну, помахай, помахай... Я те галуны-то смахну!..»

Такая проницательность наводила страх, и когда командир полка повторял прием, ленивенькие подбирались, горяченькие умеряли свой пыл и тысяча ружей взлетали и сверкали вверх и вниз, как одно ружье! Учение становилось еще серьезнее, когда приходила очередь маршировке развернутым и сомкнутым строем. Жерков понимал, что это — из всех задач труднейшая, и становился на высоту своего положения. Тут его проницал знаменитый «первый пот». Он кипятился и гремел на весь манеж: «Господи прошу ногу держать!.. А унтер-офицерам — смотреть на господ!.. А люди!.. Внима-ни-е!..»

Потом он командовал, колонна двигалась, но сначала движение не клеилось. Не только солдаты, но и господа офицеры с перепугу не сразу попадали в такт; «кренделя» сбивались с ноги и путали всю свою шеренгу словом, дело выходило дрянь! Вот тогда-то, при малейшей затяжке, колебании или учащении шага, Жерков неистово кричал: «Сто-о-о-й!» А потом вдруг затихал и переходил в разговорный тон, чего Боже упаси! Эти разговоры были страшнее крика и распекаянья, потому что в подобных случаях отец-командир вел следующий разговор: «Капитан Швенцов, у вас там, в 3-м взводе, во 2-й шеренге, какие-то три подлеца все танцуют!» Несчастный капитан бегал по фронту, загадывал, заглядывал и все-таки никак не мог различить «трех подлецов». Но Жерков давно их различил и спокойно говаривал: «Позвольте-ка, я вот сейчас до них доберусь!..» Он втискивался в глубину колонны, и среди мертвой тишины слышалось, как командирские кулаки громыхали по всем трем танцорам. В такие минуты душа солдатская уходила в носки и в пятки, зато, когда Жерков опять двигал колонну, все эти носки и пятки, им одушевленные, трамбовали манеж с таким изумительным согласием, что колонна двигалась как один человек! При подобном результате Жерков молчал а если он молчал, — значило, что дело пошло на лад, но в этом случае командир полка и не затягивал, а сейчас же кончал учение.

«Из записок старого преображенца» (кн. Н. К. Имеретинского).

Русская Старина, 1893, февраль.

Солдатская служба

Учить и бить, бить и учить были тогда синонимами. Если говорили: поучи его хорошенько, — это значило: задай ему хорошую трепку. Для учения пускали в ход кулаки, ножны, барабанные палки и т. п. Сечение розгами практиковалось сравнительно реже, ибо для этого требовалось более времени и церемоний, тогда как кулак, барабанная палка и т. п. были всегда под руками. Било солдат прежде всего их ближайшее начальство: унтер-офицеры и фельдфебели; били также и офицеры. Капралы и фельдфебели «дрались», так сказать, преемственно, по традиции. Ведь их тоже били несчетное число раз, прежде чем они научились уму-разуму, и вот, когда наступила их очередь учить других, они практиковали над своими подчиненными приемы той же суровой школы, которую прошли сами.

Большинство офицеров того времени тоже бывали биты дома и в школе, а потому били солдат из принципа и по убеждению, что иначе нельзя и что того требует порядок вещей и дисциплина.

Особенно сурово и бессердечно обращались со своими подчиненными унтер-офицеры и фельдфебели, предварительно прошедшие курс ученья в «палочной академии», как тогда называли в армии учебные кантонистские батальоны.

Вдоль выстроенной во фронт роты проходит такой «академист-фельдфебель» и останавливается перед молодым солдатом.

— Ты чего насупился? Сколько раз учить вас, что начальству следует весело смотреть в глаза! — кричит фельдфебель, сопровождая слова свои увесистой пощечиной.

Получив такое внушение, молодой солдат как-то жалостно щурит глаза, но это вовсе не удовлетворяет грозного учителя.

— Веселей смотри! Веселей смотри, тебе говорят, истукан ты этакий! — приказывает фельдфебель, продолжая наносить удары не умеющему «смотреть весело». Поучаемый солдатик таращит глаза на свое сердитое начальство, и губы его складываются в какую-то болезненную гримасу, долженствующую изображать улыбку.

Довольный своим «ученьем» фельдфебель удаляется, а старый ветеран, с тремя нашивками на рукаве, в утешение своему молодому товарищу и соседу говорит:

— Вот что значит, брат, настоящая служба: бьют и плакать не дают!..

Служака, скажу вам, я был в полку не последний!^[9]

Такие сцены были тогда явлением обыденным в наших

армейских полках.

Шагистiku всю и фрунтовистiku, как есть, поглотил целиком! Бывало, церемониальным маршем перед начальством проходишь, так все до одной жилки в теле почтение ему выражают, а о правильности темпа в шаге, о плавности поворота глаз направо, налево, о бодрости вида — и говорить нечего! Идешь это перед ротой, точно одно туловище с ногами вперед идет, а глаза-то так от генерала и не отрываются! Сам-то все вперед идешь, а лицом-то все на него глядишь. Со стороны посмотреть, истинно думаю, должно было казаться, что голова на пружине! Нет-нет да лицом на затылок перевернется!

А нынче что? Ну кто нынче ухитрится ногу с носком в прямую линию горизонтально так вытянуть, что носок так тебе и выражает, что вот, мол, до последней кали крови готов за царя и Отечество живот положить!

А хоть служакой и был я хорошим (то есть таким, что, без хвастовства сказать, в полку другого такого при мне и не было), а как, бывало, подходит время к инспекторскому смотру, так сердце не на месте.

Оно не то чтобы по хозяйству страшно было: ведь это только на бумаге писалось, что инспектирование, дескать, должно удостоверять, что солдаты все, им от казны положенное, получают; солдат почем знает, что ему от казны положено? Да и не дурак солдат, чтобы сознаться, что, за недостатком дров в казармах, он у соседей забор разорил или что себе в щи целой ротой у огородника несколько гряд капусты или картофеля выкопали; солдат всякий знает, что «доносчику первый кнут» да и то ему ведомо, что грабить и с голода не позволено. К тому же дело и начальству было не безызвестное, что только с дров, да с припасов, да с амуниции полковой командир доход и наворачстает, иначе и извернуться с комиссариатом было бы ему нечем.

Нет, насчет экономии можно было быть совершенно покойным: Бог не выдаст, свинья не съест! Попался, правда, раз один полковой командир на крагах — уволили из полка, да уж больно хитрую штуку выдумал.

Вы, молодежь, небось нынче и не знаете, что это и за краги такие были? А это, видите ли, были голенища кожаные, которые надевались сверх брюк, с застешками по бокам. За кожу на них, да на шитье, да и за пуговицы отпускались деньги, которые разумеется, прямо отправлялись командирам в карман, а солдатики, знай себе, старые краги донашивали: ваксой натрут — за новые идут. Только однажды инспекторский смотр: хвать, хвать! — а на старых-то крагах кожа до того перегорела, что пуговицы не держатся. Только голь хитра на выдумки: соорудили

краги из сахарной бумаги, ваксой натерли — словно зеркало блестят! Так бы и сошло. Надобно же случиться беде! Инспектор ли новый попался больно ретивый, измена ли какая случилась, только открылась вся штука! Командиру, разумеется без огласки, велели выйти в отставку, да вслед за тем (спасибо ему, доброму человеку) и самые краги отменили. Хорошо, что отменили, а то, бывало, краги застегивать — пребедовая комиссия.

Так вот, я говорил, по хозяйству инспекторских смотров бояться было нечего: без следствия всякому солдатскому заявлению не поверят же, а следствие зачнется тем, что заявителя-то засадят под часы, да на хлеб, на воду, да аудитор так засудит, что его же, раба Божьего, за ложный донос без выслуги запишут в линейный какой-нибудь батальон, а на дорогу еще всыпят несколько сотен.

Страсть-то не в этом, а в бодром виде солдат да в пригонке на них амуниции. Беда это, бывало, с ремешками, да с репейками, да с помпонами, да со всем иным прочим. Ну куда за всем углядеть! Всякая-то вещь отдельная — пустяк! А за эти вот за самые пустяки хорошо, коли только гауптвахтой отделаешься, а не то иной раз и в гарнизон угодишь.

Наш командир уж очень хорошо это понимал, и меня, спасибо ему, по достоинству ценя, многому научил. Одним упрекнуть можно, педант был, все, бывало, твердит: «Что солдату назначено, то ему и отпуской, взыскивай с него должное, да и отпуской должное». Насчет взыскания оно верно, а насчет отпуска он ошибался: отпусти солдату, что положено, все он истратит; сколько хочешь не добавь, будет на том доволен; отпусти лишнее — тоже ничего не оставит. Такая уж у него солдатская натура.

Да уж нечего говорить — чужак был командир! Другие командиры только думали, как бы смотр с рук сбыть, а он, во все время командования нашим полком, завел, чтобы каждый раз перед инспекторским смотром *репетичка* была, смешно сказать, — сам себя инспектировал! Жутко приходилось солдатам выстаивать эти репетички, да и нам, офицерам, соком они доставались, — пожалуй, солонее самого смотра приходилось, потому что на смотре инспектирующий генерал обойдет ряды, иной раз для приличия, то есть больше для острастки, придерется к каким-нибудь пустякам, опросит солдатиков: — «Всем ли довольны?» — «Всем довольны, ваше превосходительство!» — «Все ли получаете?» «Все получаем, ваше превосходительство!» Случилось раз — забавник попался инспектор, спросил: «А сахарными пирогами командиры кормят!» — «Кормят, ваше превосходительство!» Потому что солдаты приучены были последнее генеральское слово дружно подхватывать. Пропустит

потом церемониальным маршем пройти, да и вся недолга! Ну, разумеется, коли на марше пуговица у солдата отлетит, либо кутасы на киверах в шеренге не в один размер шевелятся, либо какой помпон из общей линии выскочит взад или вперед, опустится ниже или поднимется выше, тогда виноватому известно, что следует ему назначать, да и отделенный, зачастую ротный, а иной раз и батальонный, — гауптвахты не минуют. Да ведь это случай ну а за всяким случаем не угонишься!

А уж на репетичках случаев не бывало: тут все на чистоту открывалось. Выведут спозаранку назначенный на репетичку батальон, соберет около себя командир всех офицеров, да и станет поодиночке каждого солдатика выкликать да рассматривать — душу всю этим осмотром вытянет! Сперва оружие осмотрит, кивер скинет, и Боже упаси, коли какая в нем лишняя дрянь, трубка, что ли, или рожок с табаком, запихана — не терпел он табаку, даже мы его за то раскольников между собой прозвали; а там за ранец примется; да уж в конце концов мундир и брюки осматривать станет; да ведь как осматривал! Пальцы между пуговиц пропихивает, мжду зобом и воротом сует, иной раз велит расстегнуться да показать, не грязна ли рубашка, и во все это время для нашей науки причитывает, что солдат должен заботиться о чистоте, что царем данное оружие лелеять следует, что военному человеку отнюдь не нужно приставать к таким привычкам, которым на походе удовлетворять нельзя, что он должен приучаться и к холоду, и к голоду, и к лишениям, и к терпению; и все это приговаривает не торопясь, тихо, с расстановками.

А мы-то стоим, бывало, около него, да слушаем, да не дождемся: скоро ли кончит он вычитывать свои рацеи, да нас портняжному искусству научать, да отпустит нас водочки выпить и, чем Бог послал, закусить.

Впрочем, нам-то еще с полгоря, а жалко, бывало, солдатиков. Еще хорошо, коли скомандует: «Ружья к ноге! Стоять вольно»; но иной раз забудет, что ли, а не то, пожалуй, и не без умысла начнет он свой осмотр после команды «на плечо», да не скомандует; «к ноге», так и выстаивай — сердечные солдатики — неподвижно, вытянувшись, в струнку, с ружьями под приклад, часа два, не то три, а забывшись и больше, пока не отпустят наши души на покаяние!

Век буду жить, а в век не забуду, что на одной такой репетичке смотря случилось. Скомандовал командир «к ноге», да и начал осмотр: смотрит час, смотрит другой, вдруг слышит (а командир страшно на ухо чуток был): в задней шеренге вздохнул солдатик очень глубоко да вполголоса, должно быть, в забытьеи

проговорил очень жалобно: «Ох! Ох! Ох!» Повернулся командир. «Кто там вздохнул? — говорит. — Выходи!» Вышел солдатик. «Что, — спрашивает тихим голосом, — устал, братец?» А тот сдуру-то и брякнул: «Виноват, ваше превосходительство, — устал!» — «Отчего же ты, — возразил командир, — устал? А я, — говорит, — твой полковой командир, да и все эти (на нас показывает) господа офицеры, твои командиры, не устали? Ты, — говорит, — в полной форме, и мы также в полной форме, да и я, да и они все в полной форме (про ружье да про ранец не упомянул). Ведь и наше, — говорит, — дело не легкое: ты вот за себя одного отвечаешь, а мы за вас за всех перед Царем да перед Отечеством отвечаем. Ты, — говорит, — знаешь ли долг свой? Отвечай — знаешь ли?» Ну где же солдату отвечать? Известное дело, отвечает: «Виноват, ваше превосходительство!» — «Я знаю, что виноват; но в чем виноват? Вот я тебе растолкую, в чем ты виноват»... И пошел толковать ему (понимается больше нам, офицерам, в урок), что долг воина — повиновение, лишение, терпение и все в этом тоне. Кончилось, разумеется, наказанием, да наказание-то уж больно, видно, жестоко было: как наказали солдатика, так в лазарет полковой снесли; полежал он там много времени ничком, и как его ни лечили, а пришлось за неспособностью службы выписать. Ходил у нас в полку слух, что командир сам не раз к нему в лазарет заходил, а как на родину отпустили, так и пенсию ему по самую смерть определил. Кто тому верил, кто не верил, а иные говорили, что высшее начальство с тем уговором только командиру и взыскания никакого за наказание не сделало. Да кто его знает, он и сам такой чудной был: может быть, просто от себя наградил за то, что солдатик не мог больше службу продолжать. А впрочем, и то — правду надобно сказать — солдатик-то сам по себе ледащий был!

С тех пор в нашем полку никакого баловства в строю больше не было: хоть сутки простоит солдат с оружием, под приклад ли, к ноге ли, а уж не охнет! Да что и говорить — не случись турецкой кампании и оставайся бы у нас прежний командир, первым бы в войске полком по выправке был. Ну а об войне, известное дело, тем, кто умнее меня, сказано, что «война солдат портит».

«За много лет» (воспоминания неизвестного).

Русская старина, 1894, июль.

Едва ли какая кампания представляет примеры такой безурядицы в продовольствии армии, какой отличалась Крымская кампания. Баснословные суммы отпускались в войска, преимущественно на фуражное довольствие лошадей, а между тем на глазах у всех лошади дошли от голода. Дошло наконец до того, что в ноябре, декабре и январе месяцах, когда справочные цены возвышены были в Севастополе и окрестностях на сено до 1 руб. 20 коп. за пуд и на овес до 16-ти руб. за четверть, многие лошади в полках и артиллерийских батареях по целым дням не видели ни клочка сена, ни зерна овса и поддерживали свое существование матросскими сухарями да мелким дубовым кустарником, которым в избытке изобиловала местность, занятая нашими войсками. Кормить лошадей вместо сена дубьем, как рельефно выражались наши солдатики, считалось в то время делом естественным и хозяйственным. Все, начиная с главнокомандующего, это видели, и все молчали. Преследовать зло нельзя было, потому что это зло застраховано было от всякой ответственности сознанием высших властей своей полнейшей неспособности продовольствовать армию.

Такое ненормальное положение дел было неизбежным следствием прежних распоряжений. До высадки неприятеля распоряжений по продовольственной части, собственно говоря, никаких не было. Не было сделано никаких заготовлений о перевозочных средствах никто не думал о дорогах никто и не вспомнил, а об осенней и зимней распутице, какая бывает в Крыму, вероятно, никто и не знал. Войска жили, как в мирное время, на квартирах, получали от казны хорошие деньги на фураж и мясо и продовольствовались, кто как умел и кто как мог, истощая и без того небогатые средства края. Затруднения в продовольствии обнаружились скоро после высадки и, увеличиваясь по мере прибытия новых войск, с наступлением распутицы дошли до крайности: оказалось, что перевозочные средства края почти все потреблены войсками еще летом, вследствие чего доставка фуража на позиции к Севастополю, где сосредоточивались главные наши силы, становилась почти невозможной и обходилась баснословно дорого. Войска начали требовать, чтобы интендантство армии доставляло им фураж в натуре, но интендантство, не имея ни запасов, ни перевозочных средств, конечно, не могло и думать об исполнении этих требований. Чтоб вывести интендантство из крайнего положения, в каком оно находилось, главное начальство армии сделало

новую капитальную ошибку. Вместо того чтобы принять энергетические меры к сформированию запасов и перевозочных средств, оно вздумало соблазнить командиров отдельных частей назначением высоких цен, с тем чтобы они не отказывались продовольствовать лошадей своим попечением и не требовали бы от интендантства фуража в натуре. Мера удалась, но губительные ее последствия не замедлили обнаружиться.

Командиры догадались, что начальство армии не может доставлять фуража в натуре, и вымогательствам их нельзя уже было положить никаких пределов. При каждом удобном случае они грозили отказаться от продовольствия лошадей своим попечением, и, чтобы их задобрить, растерявшееся начальство опять должно было прибегать к прежней губительной мере — возвышению цен. Таким образом, между начальством и войсками установился невысказанный, но всеми понятый договор: не требовать от интендантства фуража в натуре, и за это пользоваться выгодами от ненормально возвышаемых цен, кто как умеет и у кого насколько хватит совести. Но и эта паллиативная мера принесла только зло и никакой пользы. Командиры действительно не требовали более от интендантства фуража в натуре — но зато и лошадей почти вовсе перестали кормить. Дело в том, что непомерное возвышение цен потребовало на довольствие войск, в 5 или 6 раз по численности увеличившихся, такие громады миллионов, которых никогда в достаточном количестве армия не имела. Таким образом, только часть армии могла получать деньги на продовольствие своевременно, тогда как остальная часть получала их по истечении месяца, а иногда и позже. Весьма естественно, что командиры тех частей, которым интендантство не отпускало ни фуража, ни денег, могли уже совершенно безнаказанно держать лошадей на самой строжайшей диете и получать потом десятки тысяч, высчитанные аккуратнейшим образом по справочным ценам на овес и сено.

«Из походных воспоминаний о Крымской войне».
Русский архив, 1870, стр. 2047–2050.

Глава VII

Печать и школа

Цензура

10 июня 1826 года был высочайше утвержден новый цензурный устав.

Устав этот отличался необыкновенной строгостью, вместе с тем, несмотря на значительный объем, на свои 230 параграфов, он предоставлял широкое поле для всяких произвольных толкований. Организация цензурного ведомства была совершенно изменена. Во главе поставлен верховный цензурный комитет. Цензуре поручаются три главнейших попечения: а) о науках и воспитании юношества; б) о нравах и внутренней безопасности и в) о направлении общественного мнения согласно с настоящими политическими обстоятельствами и видами правительства. Поэтому верховный цензурный комитет состоит из министров народного просвещения, внутренних и иностранных дел. Верховному комитету подчинены три цензурных комитета, состоящих в ведомстве просвещения. Цензура совершенно отделена от университетов, выделена в особое ведомство. Устав подробно говорит о запретном в области политических вопросов.

«§ 166. Запрещается всякое произведение словесности, не только возмутительное против правительства и постановленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение.

§ 167. А потому цензоры, при рассматривании всякого рода произведений, обязаны всевозможное обращать внимание, чтобы в них отнюдь не вкрадывалось ничего могущего ослабить чувства преданности, верности и добровольного повиновения постановлениям Высочайшей власти и законам отечественным.

§ 169. Запрещаются к печатанию всякие частных людей предположения о преобразовании каких-либо частей государственного управления или изменении прав и преимуществ, Высочайше дарованных разным состояниям и сословиям государственным, если предположения сии не одобрены еще правительством».

Такие рамки отводятся для обсуждения внутренних вопросов: нельзя говорить не только о правительстве, но даже о «властях», то есть обо всей администрации, чтобы не ослаблять «должное к ним почтение», не ослаблять «чувства преданности, верности и добровольного повиновения»; нельзя говорить ни о каком преобразовании в управлении или в устройстве, пока правительство само не предпримет этого преобразования. И ни о чем подобном нельзя говорить не только «прямо», но и «косвенно». К таким ограничениям в обсуждении внутренней жизни присоединялись запрещения, касавшиеся внешней

политики: не дозволялось говорить ничего обидного для иностранных держав, особенно для членов Священного союза (§ 170), воспрещалось без должного уважения говорить об иностранных государях, правительствах и властях, предлагать им неуместные советы и наставления (§ 171). В уставе 1804 года, как припомнят читатели, заключалась общая оговорка, в силу которой «скромное и благоразумное исследование всякой истины... пользуется совершенною свободой»; в уставе 1826 года тоже сделана оговорка, но лишь относительно иностранных государств, и при том в такой форме: «Само собой разумеется, что скромного и пристойного рассуждения о предметах управления иностранных государств воспрещать не следует» (§ 172).

Очень поучительно отношение нового устава к философии: «Кроме учебных логических и философических книг, необходимых для юношества, прочие сочинения сего рода, наполненные бесплодными и пагубными мудрованиями новейших времен, *вовсе печатаемы быть не должны*» (§ 186). В исторических, статистических и географических сочинениях следует обращать внимание на цель и дух их, чтобы они не заключали ничего неблагоприятного монархическому правлению, никаких произвольных умствований (§ 177–181); запрещаются всеумозрительные сочинения о правах и законах, основанные на теории об естественном состоянии, о договоре, о происхождении власти не от Бога и т. д. (§ 190). В уставе 1804 года мы видели предписание цензору сомнительные места истолковывать выгоднейшим для сочинителя образом; новый устав, напротив, говорит: «Не позволяется пропускать к напечатанию места имеющие двоякий смысл, если один из них противен цензурным правилам» (§ 151). В полном противоречии с уставом 1804 года стоит новое предписание, чтобы цензура вновь рассматривала книги, предназначенные для второго и вообще повторительного тиснения (§ 156). Не дозволяются к печатанию сочинения, нарушающие правила и чистоту русского языка, исполненные грамматических погрешностей (§ 154). При рассматривании книжных каталогов и объявлений цензура должна наблюдать, чтобы приписываемые книгам похвалы не противоречили справедливости, дабы любители чтения не были побуждаемы приобретать книги, не заслуживающие внимания (§ 157). Недавнее распоряжение Шишкова по цензуре возведено в закон: запрещено ставить точки или другие знаки вместо пропущенных цензурой мест (§ 152); точно так же сделано общим правилом: «Статьи, касающиеся государственного управления, не могут быть напечатаны без согласия того министерства, о предметах коего в них рассуждается» (§ 141); этим постановлением совершенно

стеснено всякое обсуждение внутренних дел. Духовная цензура, еще со времени регламента Петра Великого, оставалась в руках духовной власти, но устав 1826 года ввел, кроме того, еще несколько специальных цензур: для книг, касающихся религии католической (§ 118 и § 119), униатской (§ 124), для учебников (§ 125).

...Первое время по выходе устава 1826 года издавались новые к нему дополнения, еще более стеснявшие печать. Так, по уставу статьи о Польше и о Финляндии могли быть только заимствуемы из официальных варшавской и гельсингфорской газет (§ 148), а затем в 1826 года дано общее предписание: «Принять за правило и строго наблюдать, дабы ни в одной из газет, в России издаваемых, отнюдь не были помещаемы статьи, содержащие в себе суждения о политических видах Его Величества, допуская те только из сего рода, кои заимствуются из петербургских академических газет или из *Journal de S.-Petersbourg*».

Новые правила применялись строго, о чем свидетельствуют многочисленные цензурные дела этого времени; шишковский устав лег тяжелым гнетом на литературу, к счастью, он просуществовал недолго. С одной стороны, явился случайный повод — пересмотр правил об иностранной цензуре; с другой стороны, в правительственных сферах восторжествовало мнение, что невозможно, опасно брать всю литературу под безусловную опеку правительства. Адмирал Шишков был заменен кн. Ливеном. В 1827 году приступили уже к составлению нового общего цензурного устава, который и был утвержден 22 апреля 1828 года.

Устав 1828 года значительно отличается от устава предшествовавшего. Целью цензуры поставлено только наблюдение за тем, чтобы не было вредных изданий, но цензура не должна заботиться о направлении литературы, о руководстве ею, а тем более не должна исправлять ошибок или слога писателей. При министерстве, взамен верховного цензурного комитета, создается главное цензурное управление из представителей разных ведомств; ему подчинены цензурные комитеты при учебных округах. Мы находим в уставе некоторые смягчения. Так, цензуре вменено в обязанность обращать внимание на дух книги, принимая за основание ясный смысл речи, не допуская произвольного толкования оной в дурную сторону (§ 6), не делая привязки к словам и отдельным выражениям (§ 7), отличая благонамеренные суждения и умозрения от дерзких и бунтовских мудрований, различая также сочинения ученые, специальные от популярных (§ 8). Цензура должна отличать безвредные шутки от злонамеренных искажений

(§ 13), не входя в разбор справедливости или неосновательности частных мнений и суждений писателя, не рассуждая о полезности и бесполезности изданий, если оно только не вредно, не исправляя слога и литературных ошибок автора (§ 15).

Все эти правила, сравнительно с уставом 1826 года, представляют улучшения, но новый устав страдал по-прежнему неопределенностью в основных положениях, давал простор для всяких толкований. Дальнейшая цензурная практика основывается, с одной стороны, на толковании статей устава в неблагоприятном для литературы смысле, с другой — на новых дополнениях цензурных правил, на распоряжениях администрации; она вполне отражала на себе характер времени, все усиливавшуюся реакцию. Другой характерной чертой в истории нашей цензуры за николаевское время является постоянное вмешательство в цензуру посторонних ведомств, отчасти прямо в силу закона, отчасти в силу господствовавших административных нравов. Николаевская цензура была не самостоятельна как по своему основному характеру, так и по фактическому своему положению.

В первое время, при министерстве кн. Ливена, положение литературы было значительно легче, чем при Шишкове и кн. Голицыне. Министр нередко решал в пользу писателей сомнения, возникавшие в цензурном ведомстве, он заботился, насколько мог, о соблюдении нового устава, старался о самостоятельности цензуры. Но европейские события 1830 года вызвали усиление у нас цензурных строгостей. Положение цензуры еще ухудшилось, когда в 1833 году кн. Ливена заменил С. С. Уваров. Выше я уже упоминал о заслугах Уварова в деле русского просвещения, но положение нашей печати сделалось при нем гораздо тяжелее. Думая отстоять самостоятельность цензурного ведомства, Уваров старался всячески усугубить строгости общей цензуры, чтобы избежать постороннего вмешательства. Он не достиг своей цели: строгости его губительно отзывались на печати, а между тем посторонние притязания и вмешательство в цензурное дело все усиливались. Вскоре ряд отдельных распоряжений лишили цензурное ведомство всякой самостоятельности, создали множество отдельных и равнообязательных цензур. Все касавшееся военного дела и военной истории было подчинено цензуре военного министерства; критические статьи об учебниках, изданных для военных училищ, подлежали цензуре военно-учебного ведомства; так, были еще установлены по разным случаям и по разным вопросам цензуры в Министерстве внутренних дел, в почтовом ведомстве, Министерстве просвещения и в академии наук, в управлении московского

попечителя учебного округа, в ведомстве путей сообщения, в комиссии о построении Исаакиевского собора, в комиссии о приютах, в Человеколюбивом Обществе, в управлении Кавказа, в III отделении, во II отделении, в военно-топографическом депо, в археологической комиссии, в государственном коннозаводстве, в особом учебном комитете, при Министерстве двора, при министерстве иностранных дел. «Если сосчитать всех лиц, заведующих цензурой, — говорит А. В. Никитенко, — их окажется больше, чем книг, печатаемых в течение года». Какое-нибудь издание, с содержанием разнообразным, могло проходить последовательно через несколько цензур. И надо прибавить, что все эти специальные цензуры нимало не избавляли от общей цензуры. Понятно, как все это было стеснительно для печати.

Почти всякая отрасль управления заявляла свои права на особую цензуру и получала ее. Поводы для этого бывали самые незначительные. Так, в 1831 году академик Кеппен напечатал совершенно невинную статью под заглавием «Почтовые сообщения». Князь А. Н. Голицын, главный начальник над почтовым департаментом (бывший министр народного просвещения), писал Уварову: «Автор этой статьи критикует распоряжения почтового начальства, предлагает новые взамен существующих, указывает на какие-то злоупотребления и даже порицает систему страхового сбора, утвержденного Государем Императором... Это попытка того либерального духа Западной Европы, который стремится подвергать действия правительств контролю свободного книгопечатания... Кеппен и теперь уже возглашает: «Наступает и для нас время развития сил народных!» Дело кончилось тем, что министр народного просвещения сделал академику Кеппену официальный выговор, и было издано распоряжение, чтобы все статьи о почтовой части до напечатания были представляемы на предварительное рассмотрение главного начальника над почтовым департаментом. Так, когда в 1845 году в газетах появилась статья о Николаевской железной дороге, гр. Клейнмихель, нисколько не порицая ее содержание, испросил, однако, высочайшего повеления, чтобы ничего не печаталось об этом предмете без его одобрения и т. д. За то же время несколько раз повторялось запрещение всем служащим, как военным, так и гражданским, что-либо печатать без разрешения своего начальства. При столь сильной боязни гласности нас нисколько не удивляет такое запрещение: в периодических изданиях нельзя перепечатывать из журнала Министерства народного просвещения распоряжения по этому министерству и т. п.

Таковыми законодательными повелениями и административными распоряжениями был дополнен цензурный

устав 1828 года. В сущности, при этих дополнениях он мало чем отличался от устава 1826 года, и в цензурной практике действовали те начала, те взгляды, которые были официально осуждены в 1828 году в Государственном совете при обсуждении цензурного устава. Для русской литературы, для молодой русской печати настала тяжелая пора.

...Как известно, в 1826 году Пушкин был вызван из своей деревенской ссылки в Москву, обласкан государем, который взял его под свое покровительство и затем через Бенкендорфа обещал, что «сам будет первым ценителем произведений (Пушкина) и цензором».

«С какой целью сделал это император Николай Павлович? — спрашивает академик Сухомлинов. — Желал ли он выразить свое уважение и доверие знаменитому писателю? Но в таком случае всего проще было бы освободить его от всякой цензуры. Или, быть может, имелось в виду совершенно другое — устранить всякую попытку напечатать что-либо такое, что могло бы проскользнуть от недосмотра или снисходительности обыкновенной цензуры?»

Пушкин в ноябре 1826 года писал Языкову: «Царь освободил меня от цензуры. Он сам — мой цензор. Выгода, конечно, необъятная. Таким образом, *Годунова* тиснем». Опыт скоро показал поэту, что такая выгода имеет и свои неудобства и что поэт вовсе не избавлен от цензуры. Напротив, он попал под двойную цензуру.

В конце того же ноября Пушкин получил строгий выговор от Бенкендорфа за то, что читал в Москве в литературных кругах «Бориса Годунова», еще не представленного государю. В то же время оказалось, что Пушкин лишен права печатать что-либо без разрешения высшего начальства, с дозволения одной обыкновенной цензуры. Понятно, как это было стеснительно для поэта и как это его обижало. «Я не лишен прав гражданства, — писал он Погодину, — и могу быть цензурован нашею цензурой, если хочу, — а с каждым нравоучительным четверостишием я к высшему начальству не полезу — скажите это им». Но как ни сердился Пушкин, ему приходилось покоряться... Этого еще было мало: высшей цензуре государя было еще недостаточно — с поэта полиция взяла подписку, что он ничего не будет печатать «без разрешения обычной цензуры». Это была, собственно говоря, курьезная несообразность: полиция и цензура требовали рассмотрения того, что только что было рассмотрено в III отделении собственной Е.И.В. канцелярии, что было разрешено самим государем; выходило, так, что общая цензура должна была контролировать цензуру государя. Но и с этим Пушкину приходилось мириться. Иногда ему удавалось напечатать мелкие

стихотворения под одной общей цензурой, без представления государю, ему удавалось нередко отделаться от притязаний общей цензуры, печатать крупные произведения «с дозволения правительства», но случалось, что все это навлекало ему большие неприятности, и подобные требования и притязания возобновлялись. В конце концов Пушкин все-таки очутился под двойной цензурой.

Произведения Пушкина предоставлялись императору Николаю через III отделение, которое, собственно говоря, и цензуровало их: оно подносило их государю вместе со своим разбором, со своими замечаниями. Эта высшая цензура была и строга, и медленна. Мы видели, что еще в 1826 году Пушкин надеялся издать «Бориса Годунова», но несмотря на все хлопоты, издание было разрешено только в конце 1830 года, причем поэту пришлось сделать значительные цензурные изменения да выслушать отзыв (основанный на докладе III отделения), что ему следовало бы «с нужным очищением переделать комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скотта». Из других отзывов III-го отделения о произведениях Пушкина приведу здесь еще только один, относящийся к стихотворению «19-го октября 1825 г.»: «19-е октября для публики, может быть, будет и незначащей пьесой, но... вовсе не нужно говорить о своей опале, о несчастьях, когда автор не был в оном, но был милостиво и отечески оштрафован за такие поступки, за которые в других государствах подвергли бы суду и жестокому наказанию».

Не менее Пушкина страдали от цензуры Грибоедов, Гоголь, Лермонтов; страдали от нее и другие, не столь известные писатели, постоянно терпела вся текущая печать. Так, например, роман Загоскина «Аскольдова могила» был передан на рассмотрение духовной цензуры так, В. И. Даль подвергся строгому выговору и запрещению писать за то, что в одном из его рассказов полиция не может поймать воровку так, И. С. Аксаков принужден был оставить службу за то, что не хотел отказаться от поэзии и подобных примеров можно бы указать множество. Приведу из интересных записок А. В. Никитенко, долго бывшего цензором и всячески старавшегося защищать права литературы, рассказ о том, как он пострадал из-за сущих пустяков. Граф Клейнмихель пожаловался государю на следующие места в одной повести, напечатанной в «Сыне Отечества».

«Я вас спрашиваю, чем дурна фигура вот хоть бы этого фельдъегеря, с блестящим, совсем новым аксельбантом? Считая себя военным и, что еще лучше, кавалеристом, господин фельдъегерь имеет полное право думать, что он интересен, когда побрякивает шпорами и крутит усы, намазанные фиксауром,

которого розовый запах обдает и его самого, и танцующую с ним даму...» «Затем прапорщик строительного отряда путей сообщения, с огромными эполетами, высоким воротником и еще высшим галстуком...»

Цензор за пропуски этих мест был посажен на гауптвахту, так как «неприлично нападал на лица, принадлежащие ко двору, и на офицеров».

Если тяжело было положение литературы вообще при таком характере цензуры, то особенно трудно приходилось периодической печати. Правительство обращало усиленное внимание на журналы и газеты.

Насколько строго относилось тогда правительство к периодической печати, видно, например, из печальной судьбы *Европейца*. Этот журнал стал издавать в Москве в 1831 году И. В. Киреевский; первая же книжка вызвала решительное осуждение, особенно признана вредной статья самого издателя — «Девятнадцатый век». На эту статью обратил особое внимание сам государь, и шеф жандармов граф Бенкендорф сообщил министру народного просвещения кн. Ливену: «Его Величество изволил найти, что вся статья сия есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. Но стоит обратить только некоторое внимание, чтоб видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, понимает совсем иное, что под словом «просвещение» он понимает «свободу», что «деятельность разума» означает у него «революцию», а «искусно отысканная середина» не что иное, как «конституция»... Она статья, невзирая на ее нелепость, писана в духе самом неблагонамеренном...» *Европеец* был запрещен, и в то же время состоялось высочайшее повеление о недозволении никакого нового журнала без особого высочайшего разрешения.

Немало цензурных строгостей было вызвано прямо журналами, иногда эти новые распоряжения делались в такой неопределенной форме, что, конечно, еще усиливали возможность произвола. Так, в 1836 году министр распорядился: «Цензура должна иметь строжайшее наблюдение, чтобы в повременных изданиях не возобновлялась литературная полемика в том виде, в каком она в прежние годы овладела было журналами обеих столиц».

Всякие мелочи обращали на себя внимание. Вот примеры этого. По поводу жалобы одной газетной статьи на дороговизну извозчиков, которые берут что хотят с пассажиров, приезжающих с ночными поездами, — что было принято за порицание полиции, — велено: «Сделать общее по цензуре распоряжение,

дабы впредь не было допускаемо в печати никаких, хотя бы и косвенных, порицаний действий или распоряжений правительства и установленных властей, к какой бы степени сии последнее ни принадлежали». В 1847 году было «обращено особенное внимание на журнальные и другие статьи об отечественной истории, для предотвращения в оных рассуждений о вопросах государственных и политических, которых изложение должно быть допускаемо с особенной осторожностью и только в пределах самой строгой умеренности...» Или еще: «Поставить цензорам в неперменную обязанность не пропускать в печать выражений, заключающих в себе намеки на строгость цензуры, пояснить, что запрещение цензурой впускать в Россию некоторые иностранные книги заключает в себе и запрещение говорить об их содержании в журналах, и тем более печатать отрывки из них в подлиннике или в переводе»^[10].

При таком отношении правительства к периодической печати новые издания разрешались очень неохотно, с большими затруднениями. В 1836 году в ходатайстве на разрешение нового журнала император Николай надписал: «И без того много», — после этого прямо было сделано распоряжение: «Представления о дозволении новых периодических изданий на некоторое время воспрещаются».

Пушкину много приходилось иметь хлопот с цензурой из-за желания издавать журнал или газету. Многократно в течение ряда лет делал он попытки стать редактором периодического издания, ему это долго не удавалось; раз сам государь разрешил было ему газету, но затем дозволение было взято назад. Только под конец жизни Пушкин получил разрешение издавать «Современник», по 4 книжки в год, — скорее сборник, чем журнал, но и тут он был стеснен и программой издания, и цензурными строгостями, так что ему приходилось только любоваться на «благородные раны», наносимые красными чернилами цензора статьям «Современника». Отношение Пушкина к периодической печати, то есть его публицистические статьи и его попытки сделаться редактором-издателем, представляется весьма интересным эпизодом в истории нашей прессы, и деятельность Пушкина-журналиста недостаточно еще оценена.

В 1844 году Грановский, после публичного курса, который так возвысил его популярность и авторитет, решил со своими друзьями издавать журнал. Был составлен капитал на паях, подали заявление о разрешении им «Ежемесячного обозрения». Грановский много ждал от будущего журнала, который, по его убеждению, мог принести значительную пользу, — «более, чем

целая библиотека ученых сочинений, которых никто читать не станет». Но на просьбу Грановского долго не было ответа; наконец ответ пришел, и очень короткий: «Не нужно».

Если редакторам трудно было ладить с цензурными требованиями, если трудно было получить разрешение на издание журнала или газеты, то, напротив, легко было подвергнуться взысканиям, подпасть запрещению. За рассматриваемый период были запрещены журналы: «Литературная газета» — Дельвига, «Европеец» — Киреевского, «Московский телеграф» — Полевого, «Телескоп» — Надеждина и др. Как известно, «Телескоп» был запрещен за статьи Чаадаева, — автор их был признан сумасшедшим, а редактор Надеждин был сослан в Усть-Сы-сольск. Эти запрещения изданий, которые все были подцензурными, очень любопытны. С одной стороны, наказания, которым иногда подвергались при этом авторы и издатели, стояли в логическом и юридическом противоречии с самим принципом предварительной цензуры, как на это основательно указывал еще Радищев; с другой стороны, нередкие случаи, когда направление и содержание подцензурных изданий признавалось вредным, должны были убеждать правительство в том, что предварительная цензура не достигает своей цели.

Выше было уже сказано, что министр Уваров старался усилением цензурных строгостей добиться большей независимости и самостоятельности цензуры. Кроме отдельных распоряжений в этом смысле, он в 1846 году даже задумывал общий пересмотр устава. Все эти меры строгости, губительно отзываясь на литературе, не доставили, однако, желательной независимости цензурному ведомству. И под конец сам Уваров должен был с очевидностью убедиться в этом.

Как европейские события 1830 года отзывались у нас усилением, между прочим, и цензурных строгостей, так еще более печальное влияние на внутреннюю жизнь России имели события 1848 года. Это отразилось опять и на цензуре. 2 апреля 1848 года учрежден особый негласный комитет, под председательством Бутурлина, — комитету этому был поручен высший надзор в нравственном и политическом отношении за духом и направлением книгопечатания. «Комитет 2 апреля 1848 г.» сделался высшим цензурным учреждением, которое объявляло министру высочайшую волю по цензурным делам и само давало ему свои указания, делало от себя замечания. Исчезла последняя тень независимости цензуры. Уваров, после попытки противостать бутурлинскому комитету, оставил министерство.

Негласный комитет 2 апреля 1848 года просуществовал до конца 1855 года; это время — с 1848 года по 1855 год —

представляет самое полное господство цензурной опеки, и официальный историк нашей цензуры признает справедливым наименование этих лет «эпохой цензурного террора».

Европейские события 1848 года окончательно определили направление русской политики в конце николаевского царствования; это сейчас же и непосредственно отозвалось на цензурном ведомстве. Мы видели, какой цензурной строгостью отличалось время с 1830 года, но правительству казалось, что цензура еще слишком снисходительна, что печать наша слишком свободна. В начале 1848 года был учрежден негласный комитет под председательством Бутурлина для надзора за цензурой и за печатью^[11].

Бутурлинский комитет просуществовал до 6 декабря 1855 года. Период этот был наиболее тягостным для русской печати.

История возникновения бутурлинского комитета недавно рассказана была Шильдером. В основе этого дела лежала записка барона М. А. Корфа, желавшего возбудить недоверие к министру Уварову, чтобы самому занять его место. Когда вместо смены Уварова дело кончилось учреждением комитета, с назначением Корфа членом его, Корф не мог быть доволен. «Встретив барона Корфа в Государственном совете, князь Меншиков нашел его бледным, желчным и расстроенным: негласным доносом удар был направлен против Уварова, и Корф надеялся был министром народного просвещения и вместо того назначен был в «цензурно-фискальный комитет», то есть уже не скрытым, а явным доносчиком». Позднее сам Корф называл бутурлинский комитет — «наростом на администрации», а своим близким говорил, что действия бутурлинского комитета приводят его в омерзение...

Шильдер следующими словами характеризует деятельность Бутурлинского комитета: «Таким образом образовалась у нас двойная цензура в 1848 г., предварительная, в лице обыкновенных цензоров просматривавшая *до печати*, и взыскательная или карательная, подвергавшая своему рассмотрению только уже напечатанное и привлекая, с утверждения и именем государя, к ответственности как цензоров, так и авторов за все, что признавала предосудительным или противным видам правительства. Спрашивается: каким образом могла существовать при таких условиях какая бы то ни было печать? Кончилось тем, что даже государь получил, но неведению комитета, так сказать, выговор от этого учреждения». Шильдер здесь разумеет один случай, когда газетная заметка об уличном происшествии была предварительно одобрена императором, а комитет признал ее недопустимой.

Посмотрим общие распоряжения по цензуре за это время.

В мае 1848 года с новой строгостью было подтверждено прежнее правило: по представлению шефа жандармов было велено, «дабы те из воспрещаемых сочинений, которые обнаруживают в писателе особенно вредное в политическом и в нравственном отношении направление, были представляемы от цензоров негласным образом в III отделение собственной Е.В. канцелярии, с тем чтобы последнее, смотря по обстоятельствам, или принимало меры к предупреждению вреда, могущего происходить от такого писателя, или учреждало за ним надзор».

Таким же образом было строго подтверждено: «Не должно быть допускаемо в печать никаких, хотя бы и косвенных порицаний действий или распоряжений правительства и установленных властей, к какой бы степени сии последние ни принадлежали»; «впредь не должно быть пропускаемо ничего насчет наших правительственных учреждений, а в случаях недоумения должно быть испрашиваемо разрешение»; «не должно быть пропускаемо к печатанию никаких разборов и порицаний существующего законодательства». Для газет и журналов даны такие правила: «Рассказывать события просто, избегая, елико возможно, всяких рассуждений; вовсе или почти не упоминать о представительных собраниях второстепенных европейских государств, об их конституциях и проч.; избегать говорить о народной воле, о требованиях и нуждах рабочих классов и т. д. Самым решительным образом запрещались «критики, как бы благонамеренны ни были, на иностранные книги и сочинения, запрещенные и потому не должны быть известными».

Особенное внимание обращали на себя статьи по русской истории:

«Сочинения и статьи, относящиеся к смутным явлениям нашей истории, как-то: ко временам Пугачева, Стеньки Разина и т. п., — и напоминающие общественные бедствия и внутренние страдания нашего отечества, ознаменованные буйством, восстанием и всякого рода нарушениями государственного порядка, при всей благонамеренности авторов и самых статей их, неуместны и оскорбительны для народного чувства, и оттого должны быть подвергаемы строжайшему цензурному рассмотрению и не иначе быть допускаемы в печать, как с величайшей осмотрительностью, избегая печатания оных в периодических изданиях».

Усиленному гонению подверглись исследования по народной словесности, собрания народных песен, пословиц и проч. По этому вопросу мы встречаем много распоряжений. Так, по поводу собрания «народных игр, загадок, анекдотов и присловий», напечатанного в курских «Губернских ведомостях» в 1853 году,

было предписано:

«Отклонять на будущее время пропуск цензуры таких народных преданий, которыми нарушаются добрые нравы и может быть дан повод к легкомысленному или превратному суждению о предметах священных и которых сохраняют в народной памяти через печать, нет никакой пользы».

В следующем году по поводу книги «Русские пословицы и поговорки, собранные и объясненные Ф. Буслаевым», в которой иные поговорки признаны неприличными, сделано такое распоряжение, «чтобы впредь не пропускали в печать подобных поговорок... которые... не может, конечно, быть полезно оглашать и вводить как бы в общее употребление». Вскоре встречаем еще предписание:

«Наговоры и волшебные заклятия, как остатки вредного суеверия, не имеющие и в ученом отношении никакого значения, вовсе не должны быть допускаемы к печати, не только в периодических изданиях, доступных большому и разнообразному кругу читателей, но даже и в сборниках и книгах, составляемых с ученой целью и предназначенных для образованного класса публики».

Затем еще:

«Народные песни, предаваемые печати, должны быть подвергаемы столь же осмотрительной цензуре, как и все другие произведения словесности, не должны быть пропускаемы такие, в которых воспевается разврат, позорящий и разрушающий семейный быт, ибо желательно, чтобы подобные песни, если они точно живут в народе, искоренялись даже в самых его преданиях, а не поддерживались и обновлялись в памяти появлением их в печати».

Если памятники народного творчества считались опасными даже в научных изданиях, то совершенно понятно, что цензура строго следила за изданиями для народа и за лубочными картинками; строгости эти распространялись даже на пряничные доски.

Приведу еще одно распоряжение:

«Имея в виду опасения, что под знаками нотными могут быть скрыты злонамеренные сочинения, написанные по известному ключу, или что к мотивам церковным могут быть приспособлены слова простонародной песни и наоборот, главное управление цензуры, для предупреждения такого злоупотребления, предоставило цензурному комитету, в случаях сомнительных, обращаться к лицам, знающим музыку, для предварительного рассматривания нот».

Понятно, насколько все подобные распоряжения, подобные

опасения заставляли цензуру быть придирчивой и подозрительной, а всего подозрительнее был бутурлинский комитет, который постоянно делал доклады государю о вредности такой-то книги или такой-то статьи и постоянно объявлял высочайшие повеления по цензуре, делал строгие указания и замечания по цензурному ведомству. Для примера того, как комитет относился к делу, приведу следующий случай. В начале 1849 года комитет сделал выговор за статью в «Современнике» — «О значении русских университетов». Комитет сам признавал, что статья эта, по ее изложению, не имеет ничего предосудительного, что, напротив, везде говорится в ней о нравственности и благотворности к правительству, о любви к России и проч.; но, вникнув во внутренний смысл статьи, комитет призывал в ней неуместное для частного лица вмешательство в дело правительства... Гр. Уваров пытался защищать статью. «Какой цензор или критик, — писал министр в своем объяснении, — может присвоить себе дар, не доставшийся в удел смертному, дар всевидения и проникновения внутрь природы и человека, дар в выражениях преданности и благодарности открывать смысл, совершенно тому противный? Я вижу себя принужденным откровенно заметить на это, что стремление, недовольствуясь видимым смыслом, прямыми словами и четко высказанными мыслями, доискиваться какого-то внутреннего смысла, видеть в них одну лживую оболочку, подозревать тайное значение, что это стремление неизбежно ведет к произволу и несправедливым обвинениям». Несмотря на объяснения Уварова, статья «Современника» все-таки признана вредной и велено: «все статьи в журналах за университеты и против них решительно воспрещаются в печати».

Приведу из интересных записок А. В. Никитенко несколько указаний на цензурную практику при комитете 2 апреля. Напоминаю читателям, что Никитенко служил цензором и близко знал ход дел.

В 1849 году «цензор Мехелин вымарывает из древней истории имена всех великих людей, которые сражались за свободу отечества или были республиканского образа мыслей — в республиках Греции и Рима, вымарываются не рассуждения, а просто имена и факты. Что же это такое? Крестовый поход против науки?.. Здесь все под одну шапку: вы все люди вредные, потому что мыслите и печатаете свои мысли...»

В апреле 1850 года в дневнике Никитенко читаем:

«Получена от министра конфиденциально бумага, по запросу верховного или, как его называют, негласного комитета, следующего содержания: «Вышла гадальная книга. От цензурного

комитета требуют, чтобы он донес, кто автор этой книги и почему этот автор думает, что звезды имеют влияние на судьбу людей?» На это комитет отвечал: «Книгу эту напечатал новым — вероятно, сотым — изданием такой-то книгопродавец, а почему он думает, что звезды имеют влияние на судьбу людей, — комитету это неизвестно». Ныне в негласном комитете председательствует, вместо Бутурлина, генерал-адъютант Николай Николаевич Анненков. Кажется, наша литература в последнее время уж очень скромна, так скромна, что люди образованные, начавшие было почитать по-русски, теперь опять вынуждены обращаться к иностранным, особенно французским, книгам; однако Анненков в каких-то книжках и журнальных статьях набрал шестнадцать обвинительных пунктов против нее — разумеется, все из отдельных фраз — и приготовил доклад».

Профессор Давыдов требовал, чтобы в учебнике истории Смаградова было выпущено все, что касается Магомета, так как это был «негодяй» и «основатель ложной религии».

Цензор Елагин исключил в физике выражение «силы природы», а в одной географической статье не пропустил место, где говорится, что в Сибири ездят на собаках, мотивируя последнее запрещение необходимостью, чтобы это известие предварительно получило подтверждение от Министерства внутренних дел.

Цензор Ахматов остановил печатание одной арифметики потому, что между цифрами какой-то задачи нам находился ряд точек: он подозревал здесь какой-то умысел составителя арифметики и т. д.

«Действия цензуры, — говорит Никитенко, — превосходят всякие границы. Чего этим хотят достигнуть? Остановить деятельность мысли? Но ведь это все равно что велеть реке плыть обратно».

Известно, как Тургенев за статью о кончине Гоголя поплатился ссылкой. Погодин был отдан под надзор полиции за то, что поставил на книжке своего *Москвитянина* траурную рамку после смерти творца «Мертвых душ». Подобные меры произвели тогда самое удручающее впечатление на общество. Никитенко писал в своем дневнике: «Да, тяжело положение, когда, не питая никаких преступных замыслов, неукоризненные в глубине вашей совести, потому только, что природа одарила вас некоторыми умственными силами и общество признало в вас их, вы чувствуете себя каждый день, каждый час в опасности погибнуть так, за ничто, от какого-нибудь тайного доноса, от клеветы, недоразумения и поспешности, от дурного расположения духа других, от ложного истолкования ваших поступков и слов...»

Очень характерен рассказ гр. А. Д. Блудовой о председателе тайного цензурного комитета, Д. П. Бутурлине. Последний простирает свои цензурные вожделения до того, что хотел вырезать несколько стихов из акафиста Покрову Божией Матери, находя их очень опасными и недозволительными: «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и зверонравных», еще: «Советы неправедных князей разори, разори, зачинающих рати погуби» и проч. Гр. Д. Н. Блудов заметил Бутурлину, что и в Евангелии есть осуждение злых правителей. «Так что ж? — возразил Бутурлин, переходя в шуточный тон. — Если бы Евангелие не было такая известная книга, конечно, надобно бы было цензуре исправить его».

В начале 1848 года высочайше было повелено немедленно приступить к соответствующим обстоятельствам времени пересмотру цензурного устава и дополнительных к нему постановлений; проект нового цензурного устава был составлен, но затем решено ограничиться сведением в одно существующих указаний.

Таким образом, царствование императора Николая началось и кончилось господством величайших цензурных строгостей — уставом 1826 года и деятельностью негласного бутурлинского комитета. И в обоих случаях правительство вскоре должно было само признать, что строгая цензурная система не достигает своей цели.

В. Е. Якушкин. «Из истории русской цензуры».

В кн. «Русская печать и цензура в прошлом и настоящем». М., 1905, стр. 47–72.

Высочайший рескрипт на имя министра народного просвещения А. С. Шишкова (19 августа 1827 года)

Александр Семенович! Вам известно, что, почитая народное воспитание одним из главнейших оснований благосостояния Державы, от Бога мне врученной, я желаю, чтобы для оного были поставлены правила, вполне соответствующие истинным потребностям и положению государства. Для сего необходимо, чтобы повсюду предметы учения и самые способы преподавания были по возможности соображаемы с будущим вероятным предназначением обучающихся, чтобы каждый, вместе с здоровыми, для всех общими понятиями о вере, законах и нравственности, приобретал познания, наиболее для него нужные, могущие служить к улучшению его участи, и, не быв ниже своего состояния, также не стремился через меру возвыситься над тем, в коем, по обыкновенному течению дел, ему суждено оставаться. Комитет, под председательством вашим занимающийся устройством учебных заведений, признал сию необходимость; но в настоящем порядке многое противно предположенному им правилу. До сведения моего дошло, между прочим, что часто крепостные люди, из дворовых и поселян, обучаются в гимназиях и других высших учебных заведениях; от сего происходит вред двоякий: с одной стороны, сии молодые люди, получив первоначальное воспитание у помещиков или родителей нерадивых, по большей части входят в училище уже с дурными навыками и заражают ими товарищей своих в классах или через то препятствуют попечительным отцам семейств отдавать своих детей в сии заведения; с другой же отличнейшие из них, по прилежности и успехам, приучаются к роду жизни, к образу мыслей и понятиям, не соответствующим их состоянию. Неизбежные тягости оного для них становятся несносны, и оттого они нередко в унынии предаются пагубным мечтаниям или низким страстям. Дабы предупредить такие последствия, по крайней мере в будущем, я нахожу нужным ныне же повелеть:

1. Чтобы в университетах и других высших учебных заведениях, казенных и частных, находящихся в ведомстве или под надзором министра народного просвещения, а равно и в гимназиях, и в равных с оными по предметам преподавания местах принимались в классы и допускались к слушанию лекций только люди свободных состояний, не исключая и вольноотпущенных, кои представят удостоверение в том виде,

хотя бы они не были еще причислены ни к купечеству, ни к мещанству и не имели никакого иного звания.

2. Чтобы помещичьи крепостные поселяне и дворовые люди могли, как и доселе, невозбранно обучаться в приходских и уездных училищах и в частных заведениях, в коих предметы учения не выше тех, кои преподаются в училищах уездных.

3. Чтобы они также были допускаемы в заведения особенного рода, кои учреждены или впредь будут учреждаемы казной и частными людьми для обучения сельскому хозяйству, садоводству и вообще искусствам, нужным для усовершенствования, или распространения земледельческой, ремесленной и всякой иной промышленности, но чтобы и в сих заведениях те науки, которые не служат основанием или пособием для искусства и промыслов, были преподаваемы в такой же мере, как и в уездных училищах.

Постановляя сии правила и поручая вам привести оные в действо, я не сомневаюсь, что воля моя будет в точности исполнена. Снабдив попечителей учебных округов и прочие подчиненные вам места и лица надлежащими наставлениями, вы можете когда нужно объявлять о сих распоряжениях и начальствам других ведомств, распространяя отныне надзор министерства, вам вверенного, на все училища без исключения, кроме военных и духовных. Комитет устройства учебных заведений не оставит, с своей стороны, заняться изысканием средств, чтобы в уездные училища ввести курс учения, достаточный для воспитания людей нижних состояний в государстве, стараясь в особенности обогащать их теми сведениями, кои, по образу жизни их, нуждам и упражнению, могут быть им истинно полезны.

Второе Полное собрание законов, № 1308.

Десятилетие Министерства народного просвещения 1833–1843 годов

(Всепогодданнейший доклад С. С. Уварова)

При истечении десятилетия со времени моих занятий по руководству Министерством народного просвещения я считаю себя обязанным и чувствую необходимость пройти внимательным взглядом все, что в продолжение этого периода сделано по учебному ведомству, волею вашего Величества мне вверенному.

В образовании народном, в этой многосложной ветви государственного управления, где цель, к которой стремиться должно, поставлена так высоко и отдаленно, где все начинания и действия, по самому свойству вещей, созревают медленно и требуют терпеливости неизменной, было бы неосторожно стремиться вперед, не обращая взоры назад и не соображая прошедшего с будущим. Чем позднее достигаются последние и окончательные результаты, тем необходимее беспристрастным исследованием приобретенных выгод, равно как и встреченных неудач, убеждаться в правильности избранного пути и подкреплять надежды на приближение к мечте далекой, почти невидимой.

Всепогодданнейше представляя В.И.В обзор последнего десятилетия Министерства народного просвещения, я не решаюсь, или лучше сказать, я не считаю себя вправе вступительно изобразить положение министерства в то время, когда В.В. благоугодно было возложить на меня это важное и трудное управление. Да будет мне позволено начать это изложение тем днем, в который, осмотрев все части, мне вверенные, и обдумав все средства, мне открытые, я удостоился получить от В.В. в главных началах наставление, которому непрерывно следовало министерство с тех пор и доньше. Этот день, незабвенный для министерства и для меня, — есть 19 ноября 1833 года.

Углубляясь в рассмотрение задачи, которую предстояло разрешить без отлагательства, задачи, тесно связанной с самой судьбой отечества, — независимо от внутренних и местных трудностей этого дела, — разум невольно почти предавался унынию и колебался в своих заключениях при виде общественной, бури, в то время потрясающей Европу и которой отголосок, слабее или сильнее, достигал и до нас, угрожая опасностью. Посреди быстрого падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, при повсеместном

распространении разрушительных понятий, ввиду печальных явлений, окружавших нас со всех сторон, надлежало укрепить отечество на твердых основаниях, на коих зиждется благоденствие, сила и жизнь народные; найти начала, составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие собрать в одно целое священные останки ее народности и на них укрепить якорь нашего спасения. К счастью, Россия сохранила теплую веру в спасительные начала, без коих она не может благоденствовать, усиливаться, жить. Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони взирал на нее как на залог счастья общественного и семейственного. Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть. Русский, преданный отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего православия, сколь и на похищение одного перла из венца Мономахова. Самодержавие составляет главное условие политического существования России. Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном камне своего величия. Эту истину чувствует неисчислимое большинство подданных В.В.: они чувствуют ее в полной мере, хотя и поставлены на разных степенях гражданской жизни и различествуют в просвещении и в отношениях к правительству. Спасительное убеждение, если Россия живет и охраняется духом самодержавия сильного, человеколюбивого, просвещенного, должно проникать народное воспитание и с ним развиваться. Наряду с сими двумя национальными началами находится и третье, не менее важное, не менее сильное: народность. Вопрос о народности не имеет того единства, как предыдущие, но тот и другой проистекают из одного источника и связуются на каждой странице Русского царства. Относительно народности все затруднение заключалось в соглашении древних и новых понятий, но народность не заставляет идти назад или останавливаться, она не требует неподвижности в идеях. Государственный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид свой по мере возраста: черты изменяются с годами, но физиономия изменяться не должна. Неуместно было бы противиться этому периодическому ходу вещей; довольно, если мы сохраним неприкосновенным святилище наших народных понятий, если примем их за основную мысль правительства, особенно в отношении к отечественному воспитанию.

Вот те главные начала, которые надлежало включить в систему общественного образования, чтобы она соединяла все выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и надеждами будущего, чтобы народное воспитание соответствовало нашему

порядку вещей и было бы не чуждо европейского духа. Просвещение настоящего и будущего поколений в соединенном духе этих трех начал составляет, бесспорно, одну из лучших надежд и главнейших потребностей времени и тот священный труд, который доверенность В.В. возложила на мое усердие и рвение.

Изгладить противоборство так называемого европейского образования с потребностями нашими, исцелить новейшее поколение от слепого, необдуманного пристрастия к поверхностному и иноземному, распространяя в юных душах радушное уважение к отечественному и полное убеждение, что только приращение общего, всемирного просвещения к нашему народному быту, к нашему народному духу может принести истинные плоды всем и каждому; потом обнять верным взглядом огромное поприще, открытое перед любезным отечеством, оценить с точностью все противоположные элементы нашего гражданского образования, все исторические данные, которые стекаются в обширный состав империи, обратить сии развивающиеся элементы и пробужденные силы, по мере возможности, к одному знаменателю; наконец, искать этого знаменателя в тройственном понятии *православия, самодержавия и народности* — такова была цель, к которой Министерство народного просвещения приближалось десять лет; таков план, которому я следовал во всех моих распоряжениях.

Естественно, что направление, данное В.В. министерству, и его тройственная формула должны были восстановить некоторым образом против него все, что носило еще отпечаток *либеральных и мистических идей*: либеральных — ибо министерство, провозглашая самодержавие, заявило твердое намерение возвращаться прямым путем к русскому началу, во всем его объеме мистических потому, что выражение — православие; — довольно ясно обнаружило стремление министерства ко всему положительному в отношении к предметам христианского верования и удаление от всех мечтательных призраков, слишком часто помрачавших чистоту священных преданий церкви. Наконец, и слово *народность* возбуждало в недоброжелателях чувство неприязни за смелое утверждение, что министерство считало Россию возмужалой и достойной идти не позади, а по крайней мере рядом с прочими европейскими национальностями. Если б нужно было еще ближе увериться в справедливости избранных начал, то это удостоверение можно было бы найти и в порицании их противниками величия России, и в общем радостном сочувствии, с коим эти заветные слова были приняты в отечестве всеми приверженцами существующего порядка. В

царствование В.В. главная задача по Министерству народного просвещения состояла в том, чтобы собрать и соединить в руках правительства все умственные силы, дотоле раздробленные, все средства общего и частного образования, оставшиеся без уважения и частью без надзора, все элементы, принявшие направление неблагонадежное или даже превратное, усвоить развитие умов потребностям государства, обеспечить, сколько дано человеческому размышлению, будущее в настоящем. После десятилетнего периода можно безошибочно сказать, что начала, избранные В.В. и управлявшие непрерывно, под моим руководством Министерства народного просвещения, выдержали опыт времени и обстоятельств, явили в себе залог безопасности, оплот порядка и верное врачевание случайных недугов.

Представляя В.И.В. этот очерк истории вверенного мне министерства в течение десяти лет, я имел преимущественно в виду утвердиться в мысли, что это десятилетие протекало не без заметных следов и что усердием лиц, принадлежащих к министерству, достигнуто несколько результатов утешительных для всех и каждого и оправдывающих неусыпное попечение В.В. о сей важной ветви государственного управления. Сверх того, нахожу себя обязанным оставить на будущее время неоспоримое свидетельство, что лица, коим В.В. поручили, под вашим наблюдением, распоряжение этой частью управления, руководствовались не слепым подражанием иноземному, не изменчивым проявлениям той или другой мысли, еще менее прихотливой оценкой случайных событий, но рационально, твердо и неотступно покоряясь во всех движениях коренным началам, стремились ежедневно ближе и ближе к цели, систематически определенной.

В заключение всеподданнейше осмеливаюсь с умилением выразить перед В.В., что я считаю себя, в полном значении слова, счастливым, что удостоился быть, на протяжении 10-ти лет, орудием ваших высоких видов, исполнение коих не могло бы иметь успеха, если бы непрерывное внимание В.И.В., ваш опытный взгляд, ваше драгоценное, никогда не изменяемое доверие не осеняли меня и министерство на каждом шагу и во всех оборотах служебной деятельности.

Подписано: *Уваров*

Из книги «Десятилетие Министерства народного просвещения 1833–1843». СПб. 1864, стр. 1–4 и 106–108.

Средняя и высшая шкала после 1848 года

Вследствие политических движений на Западе, совершенно чуждых России, в 1848–1849 годах последовали для русских университетов новые стеснительные распоряжения. Уже в марте 1848 года воспрещено было отпускать и командировать за границу лиц, служащих в Министерстве народного просвещения. В апреле 1849 г. ограничено было число своекоштных студентов в университетах 399 человеками, не распространя этого на медицинские факультеты, а в Дерптском университете на медицинский и богословский факультеты. При этом замечено было, что признается полезным, чтобы «дети благородного сословия» искали преимущественно, как потомки древнего рыцарства, службы военной перед службой гражданской. На сей конец им открыта возможность поступать в военно-учебные заведения или же прямо в ряды войск, для чего университетское образование *«не есть необходимость»*. Но студентам медицинского факультета воспрещено было переходить в другие факультеты, и вообще, прием вновь студентов был приостановлен, пока число их не войдет в положенную норму.

Вследствие этих распоряжений число студентов и слушателей, постоянно возраставшее со времени устава 1835 года, в 1849 году быстро падает, но в ближайшее за тем время снова достигает почти такого же размера. Этот факт объясняется только тем, что большинство предпочитало пойти даже на медицинский факультет, лишь бы только не остаться вне университета. Следующая таблица показывает это движение.

Университеты / Годы / Слушатели

СПБ

1836 — 299

1847 — 733

1848 — 731

1849 — 503

1850 — 387

1852 — 358

1854 — 379

Москва

1836 — 441

1847 — 1198

1848 — 1168

1849 — 902
1850 — 821
1852 — 861
1854 — 1061

Харьков

1836 — 332
1847 — 523
1848 — 525
1849 — 415
1850 — 394
1852 — 443
1854 — 457

Казань

1836 — 191
1847 — 368
1848 — 325
1849 — 303
1850 — 309
1852 — 321
1854 — 366

Киев

1836 — 203
1847 — 608
1848 — 663
1849 — 579
1850 — 553
1852 — 522
1854 — 675

Дерпт

1836 — 536
1847 — 568
1848 — 604
1849 — 544
1850 — 554
1852 — 607
1854 — 613

Итого

1836 — 2002
1847 — 3398

1848 — 4016
1849 — 3256
1850 — 3018
1852 — 3112
1854 — 3551

Таким образом, означенное ограничение было, в сущности, не ограничением числа студентов, а направлением их занятий по случайным обстоятельствам и посторонним науке соображениям. Болезненно отразился такой оборот дел на самом Уварове. Нервный удар, которому он подвергся в сентябре 1849 года, заставил его проситься в отставку. Место его занял князь П. А. Ширинский-Шихматов, бывший министром по день своей смерти (6 мая 1853 г.), когда вступил в министерство д. т. с. А. С. Норов (1858 г.). В октябре 1849 года (когда был уволен Уваров) университеты лишились права избрания ректоров. С этого времени ректором мог быть даже посторонний, но имеющий только ученую степень; избрание деканов было также ограничено (например, в Московском университете, вместо избранного Грановского, был назначен Шевырев), сделано было распоряжение принимать в студенты собственно детей дворян (январь 1850 г.). Право академии наук и университетов выписывать из-за границы без цензуры книги и периодические издания, несмотря на заявления министра народного просвещения, все-таки было ограничено (до 1859 г.). С конца 1849 года прекращено было преподавание государственного права европейских держав, которое не преподавалось до настоящего царствования (1858 и 1860 гг.); в 1850 году та же участь постигла кафедру философии, за исключением логики и психологии, чтение которых было поручено (во всех высших заведениях: университетах, главном педагогическом институте и Ришельевском лицее) профессорам богословия, обязанным преподавать их по установленным духовным ведомством программ, причем даже студенты православного исповедания Дерптского университета обязаны были посещать эти лекции у профессора богословия, тогда как для прочих исповеданий их читал светский профессор. Вместо философии было введено преподавание педагогики, с целью практических знаний казенных студентов, приготовляющихся к учительскому званию. Само наблюдение за преподаванием логики и психологии в высших учебных заведениях было возложено на тех же наблюдателей духовного ведомства, которым поручен был надзор за преподаванием закона Божьего (1852 г.). Но уже с начала 1850 года введены были известные инструкции ректору и деканам,

распространенные и на другие высшие учебные заведения (лицей и педагогический институт) и определявшие систематический надзор за преподаванием. С этого времени все преподаватели перед началом курса должны были представлять точные программы преподавания с указанием сочинений, которыми они будут пользоваться. Преподавание должно было, с одной стороны, удовлетворять всем научным требованиям, а с другой — целям нравственным, «чтобы в содержании программы не укрылось ничего, несогласного с учением православной церкви или с образом правления и духом государственных учреждений». Деканы должны были возможно чаще посещать лекции и за малейшее отступление, *хотя бы то было и безвредное*, доводить о том до сведения ректора. После этого надзор усиливался, а при повторении того же отступления следовало немедленно принять меры к пресечению зла. Надзор усиливался наблюдением при испытаниях и проверкой лекций профессора в рукописях. О характере преподавания представлялись определенные отчеты. За чтением деканов должен наблюдать ректор, который сам *не несет* профессорских обязанностей.

В конце 1850 года последовало следующее циркулярное распоряжение: «По случаю высочайших замечаний на некоторые из печатных диссертаций, написанных для приобретения ученых степеней, прошу покорнейше сделать распоряжение, чтобы не только сами диссертации были благонамеренного содержания, но чтобы и извлеченные из них тезисы или предложения имели, при таком же направлении, надлежащую *полноту, определенность и ясность, не допускающие понимать одно и то же предложение разным образом*; при рассмотрении диссертаций и при наблюдении за защитой их не допускать в смысле одобрительном обсуждения начал, противных нашему государственному устройству». Высший надзор за преподаванием в учебных заведениях и программами курсов в университетах возложен был на главное правление училищ, которому предполагалось придать прежнее значение. В это время возникла даже мысль об уничтожении университетов и замене их специальными школами.

Несмотря на всю потребность в людях школы, в распоряжениях этого периода видно постоянное стремление сделать науку аристократической, распределить знание соответственно состоянию и правам лиц. Это стремление, конечно, объясняется тогдашним прикреплением лиц и состояний к раз созданному положению. Крепостное право играло здесь важнейшую роль. Мы видели, что эта мысль постоянно высказывалась в тогдашних постановлениях; а так как дворяне средней и высшей статьи неохотно отдавали своих детей в общие

гимназии, то для привлечения их были созданы благородные пансионаты. С другой стороны, вследствие предшествовавших событий и желания ограничить воспитание русского юношества за границей обнаруживается стремление создать на прочных началах казенное воспитание, которое, по возможности, должно совершенно вытеснить частное. Однако лишь только обнаружился прилив в учебные заведения, как является стремление (1845 г.) ограничить доступ в высшие и средние заведения посредством повышения платы за учение. Плата за учение для приходящих впервые появилась в 1817 году и несколько раз изменялась. В это время в столичных университетах платили по 28 рублей 57 копеек и по 14 рублей 28 копеек в провинциальных. Впервые плата была повышена в 1845 году (40 и 20 рублей), притом, как сказано, вовсе не по экономическим соображениям, а чтобы ограничить *«роскошь знаний»* и «удержать стремление юношества к образованию в пределах некоторой соразмерности с гражданским бытом разнородных сословий». До настоящей цифры она была возвышена в 1848 году.

Средние и остальные высшие учебные заведения также подверглись изменениям в течение этого времени. Другим средством против прилива учащихся в средние и высшие заведения было требование еще до поступления увольнительных свидетельств от обществ, что тогда соединялось со значительными затруднениями. В 1849 году (марта 11-го) в курсе гимназий было допущено разделение на общее и специальное обучение, начинавшееся с 4-го класса, причем только желающие поступить в университет обязаны были учиться латинскому (все) и греческому (для филологического факультета) языкам (обоим с 4-го класса), а для заявивших желание поступить прямо на службу обязательны были общие предметы и законоведение.

В октябре 1851 года последовал запрос министру народного просвещения такого рода: «Не полагает ли он так же, как его величество, что преподавание греческого языка во всех гимназиях совершенно лишнее?» Князь Ширинский-Шихматов представил доклад в этом смысле, ссылаясь на личный опыт, при обозрении гимназий. При этом он указывал на то обстоятельство, что до сих пор из 74 гимназий греческий язык преподается только в 45. Преподавание его положено было оставить только в университетских гимназиях (по одной) и в некоторых других городах. Все эти преобразования не коснулись, однако, Дерптского округа. Преподавание греческого языка было заменено естественными науками, которые были признаны имеющими современный интерес. Но что далеко не эта цель преобладала в замене одного предмета другим, это очевидно из

того же доклада.

«По мнению моему, — говорится в нем, — с допущением этой меры не только довершилась бы полнота образования учеников, намеревающихся прямо из гимназий поступить в гражданскую службу, но и ощутительно облегчилось бы подробное и основательное изучение естественных наук для студентов физико-математического и медицинского факультетов, о чем неоднократно и убедительно просили меня профессора естественных наук». Без сомнения, в этой пригодности естественных наук для службы имелась в виду та же цель, то есть необходимость сократить «необдуманное» стремление молодых людей в университеты. В то время когда Дерптский округ признавался вполне пригодным для приготовления настоящих филологов, в следующем году сделано было такое распоряжение: «Не сомневаясь в существенной пользе, которая произойдет от направления этого предмета (греческого языка) к прямой цели своей — основательному изучению творений эллинских писателей и в особенности святых отцов восточной церкви, — министр народного просвещения обратил внимание на возможное усовершенствование преподавания греческого языка, причем не мог упустить из виду и правильности произношения, а потому всеподданнейше испрашивал соизволения его императорского величества, чтобы в высших учебных заведениях при преподавании греческого языка употребляемо было произношение природных греков (Рейхлина), принятое *в наших православных духовных академиях и семинариях*.

Но тенденциозность проводимых мер еще более видна из дальнейших действий. В это время заявляется стремление со стороны самих педагогов переделать всеобщую историю на новый лад, например, опустить в учебниках всю греческую и римскую историю до времен Августа. Греческая и римская история, написанная языческими или республиканскими писателями, каковы: Геродот, Фукидид, Тит Ливий и Тацит, — по мнению их, должна была оказывать вредное влияние на юные умы. Учебник всеобщей истории должен был быть написан в русском духе и с русской точки зрения. Слабые стороны этой программы были указаны тогда же Грановским.

Заявляли о приливе молодых людей в гимназии и университеты, но в действительности и гимназии далеки были от этого идеала. Из статистических данных оказывается, что число учеников в империи постоянно увеличивалось с 1836 по 1847 год, и в этом году достигло уже цифры свыше 20 000, но в следующие восемь лет оно заметно уменьшается и в 1855 году падает до цифры 17 817. В 1836 г. среднее число учеников было 227 и

гимназию, но были гимназии с гораздо меньшим числом учеников, большинство которых приходилось только на некоторые губернии (С.-Петербургскую, Московскую, западные). Вообще в это время в России оказывается: 1 гимназия на 349 000 жителей и 1 учащийся на 1000 жителей (мужского пола), тогда как в Бельгии — 1 на 230 000 (1 на 766), во Франции — 1 на 239 000 (1 на 616), в Италии — 1 на 32 100 (1 на 520), в Пруссии — 1 на 62 900 (1 на 214). Но из указанного числа учеников в русских гимназиях, по позднейшим данным (1863 г.) только Ум достигала высшего класса. В 1843 году по сословиям в 51 гимназии ученики распределялись так: 10 066 детей дворян и чиновников, 218 — духовного звания, 2500 податного состояния. В 1853 году (в 58 гимназиях) было: дворян и детей чиновников — 12 007, духовного звания — 343, податного состояния — 2719 (православных — 7884, католиков — 3571, протестантов — 1020, евреев — 155, магометан — 23). По позднейшим сведениям, в гимназиях не было занято служебных мест 2337. Более $1\frac{1}{2}$ директоров (из сведений, имевшихся в министерстве о 337 директорах) не имели вовсе степеней; из 351 инспектора без степеней было 72. Бывали случаи, что места учителей не были заняты в течение 32, 27, 11, 8 и весьма часто 5 и 6 лет. На 3956 учителей 37,5 % не имели ученой степени.

К концу настоящего периода обнаруживается полная дезорганизация учебной системы. «Гимназии потеряли под собой классическую почву и не приобрели вместо нее реальной (при введении естественных наук оказался полный недостаток руководств, а потому министерство должно было заказать составить). Они перестали быть общеобразовательными заведениями и не сделались специальными. С одной стороны, молодые люди, получившие в них окончательное образование, выносили только отрывчатые и большей частью бесполезные в жизни сведения; с другой стороны, гимназии плохо готовили своих учеников к университетам, следствием чего, по отзыву многих профессоров, был упадок научного уровня университетского преподавания».

Напрасно полагают, что в 1860-х годах началось противодействие классическому образованию. В это время оно уже почти не существовало. Между тем о поднятии уровня этого образования не раз заявляется в статьях «Журнала Министерства народного просвещения» за эти годы. Но естественные науки сделали значительные успехи в период пренебрежения ими в России; отсюда стремление дать им надлежащее место в общей системе.

Без сомнения, причиной общего упадка среднего

образования, а за ним и высшего была постоянная тенденциозность в образовательных системах. Оттого они не имели в себе строго научного характера и, если можно так выразиться, нравственной силы. Руководимые посторонними целями и создаваемые в эпохи политических перемен, они падали при первом прикосновении нового духа времени. Таков исторический вывод из всего предыдущего развития нашей школы.

В. С. Иконников «Русские университеты в связи с ходом общественного образования».

Вестник Европы, 1876, ноябрь, стр. 102–109.

Глава VIII

Третье отделение

Проект графа А. Бенкендорфа об устройстве высшей полиции

«События 14-го декабря и страшный заговор, подготовлявший уже более 10 лет эти события, вполне доказывают ничтожество нашей полиции и необходимость организовать новую полицейскую власть по обдуманному плану, приведенному как можно быстрее в исполнение.

Тайная полиция почти немыслима, честные люди боятся ее, а бездельники легко осваиваются с ней.

Вскрытие корреспонденции составляет одно из средств тайной полиции, и притом самое лучшее, так как оно действует постоянно и обнимает все пункты империи. Для этого нужно лишь иметь в некоторых городах почтмейстеров, известных своею честностью и усердием. Такими пунктами являются Петербург, Москва, Киев, Вильно, Рига, Харьков, Одесса, Казань и Тобольск.

Для того чтобы полиция была хороша и обнимала все пункты империи, необходимо, чтобы она подчинялась системе строгой централизации, чтобы ее боялись и уважали и чтобы уважение это было внушено нравственными качествами ее главного начальника.

Он должен бы носить звание министра полиции и инспектора корпуса жандармов в столице и в провинции. Одно это звание дало бы ему возможность пользоваться мнениями честных людей, которые пожелали бы предупредить правительство о каком-нибудь заговоре или сообщить ему какие-нибудь интересные новости. Злодеи, интриганы и люди недалекие, раскаявшись в своих ошибках или стараясь искупить свою вину доносом, будут по крайней мере знать, куда им обратиться. К этому начальнику стекались бы сведения от всех жандармских офицеров, рассеянных во всех городах России и во всех частях войска: это дало бы возможность заместить на эти места людей честных и способных, которые часто брезгают ролью тайных шпионов, но, нося мундир, как чиновники правительства, считают долгом ревностно исполнять эту обязанность.

Чины, кресты, благодарность служат для офицера лучшим поощрением, нежели денежные награды, но для тайных агентов не имеют такого значения, и они нередко служат шпионами за и против правительства. Министру полиции придется путешествовать ежегодно, бывать время от времени на больших ярмарках, при заключении контрактов, где ему легче приобрести нужные связи и склонить на свою сторону людей, стремящихся к

наживе.

Его проницательность подскажет ему, что не следует особенно доверять кому бы то ни было. Даже правитель канцелярии его не должен знать всех служащих у него и агентов.

Личная выгода и опасение лишиться чрезвычайно доходного места будут ручательством в верности этого правителя канцелярии относительно тех дел, которые должны быть известны ему.

Гражданские и военные министры и даже частные лица встретят поддержку и помощь со стороны полиции, организованной в этом смысле.

Полиция эта должна употребить всевозможные старания, чтобы приобрести нравственную силу, которая во всяком деле служит лучшей гарантией успеха. Всякий порядочный человек сознает необходимость бдительной полиции, охраняющей спокойствие общества и предупреждающей беспорядки и преступления. Но всякий опасается полиции, опирающейся на доносы и интриги.

Первая — внушает честным людям безопасность, вторая же — пугает их и удаляет от престола.

Итак, первое и важнейшее впечатление, произведенное на публику этой полицией, будет зависеть от выбора министра и от организации самого министерства; судя по ним, общество составит себе понятие о самой полиции.

Решив это дело в принципе, нужно будет составить проект, который по своей важности не может быть составлен поспешно, но должен быть результатом зрелого обсуждения, многих попыток и даже результатом самой практики».

12 апреля 1826 года записка эта, несомненно послужившая к образованию III отделения собственной его величества канцелярии, была препровождена к графу П. А. Толстому с тем, чтобы он по рассмотрении возвратил ее в собственные его величества руки со своим мнением.

Русская старина, 1900, декабрь.

17-го июля 1826 года, Санкт-Петербург

Ваше превосходительство, вероятно, позволите мне писать вам, не придерживаясь формы и принятого порядка, писать все, что придет мне в голову.

Г. Нефедьев имеет деревню под Москвой, где ему необходимо быть по домашним обстоятельствам. Это очень благоприятно для нашего дела. С этим господином не знаешь никаких затруднений: ни жалованья, ни расходов. Услуги, которые он может оказать нам, будут очень важны, вследствие его связей в высшем и среднем обществах Москвы. Это будет ходячая энциклопедия, к которой всегда будет удобно обращаться за сведениями относительно всего, что касается надзора. Причины отъезда Нефедьева две: личные дела, требующие присутствия его в Москве, и желание отделаться от возлагаемой на него обязанности, которая может завести его слишком далеко. Он состоит по особым поручениям при Кутузове, который желает поручить ему ревизию гражданской палаты, за что тому противно взяться. Нефедьев — статский советник и имеет орден Св. Владимира 3-го класса; он честолюбив и жаждет почестей. К переводу Нефедьева не встречается никаких препятствий, полезность же этой меры бросается в глаза.

Еще одна личность представляет для нас явную выгоду. Граф Лев Соллогуб, о котором я неоднократно говорил вашему превосходительству — может принести нам большую пользу в Москве посредством своего брата и своих родных. С этим человеком также — никакого жалованья, никаких расходов. Предлог к пребыванию его в Москве уже найден: дело, от которого зависит определение его положения, будет решаться Комитетом министров. Он ждет только согласия вашего превосходительства, чтобы безотлагательно пуститься в путь. Предложение его — действовать заодно с «надзором», цель же — быть покровительствуемым во всем, что касается ведения интересующего его дела. Граф — человек скромный и способный выполнять даваемые ему поручения; по переводе же его в корпус жандармов он может приносить действительную пользу.

Возвращаясь снова к вопросу о Нефедьеве. У него дом в Москве и подмосковная деревня, короткие связи почти со всеми жителями столицы, где он не раз живал подолгу, так что по приезде в Москву, ему не надо будет устраивать дом и заводить знакомства, а стоит только начать делать приемы. Сообщение биографий разных лиц, и донесения о настоящем положении

вещей и людей, о полиции и местных властях — одним словом, обо всем, что может интересовать «надзор», — могут быть сделаны Нефедовым тотчас же по прибытии в Москву со всеми подробностями, для чего ему не надо ни с кем советоваться, кроме своего собственного архива. Здесь ему хотят поручить ревизию гражданской палаты. Раз начав это дело, он зайдет слишком далеко. Вот почему необходимо безотлагательно пристроить его к надзору, что не встретит затруднений, так как, не имея определенных занятий, ему не в чем будет отдавать отчет: он состоит сверхштатным чиновником по особенным поручениям, по воле покойного Государя, и преемник этого последнего может дать ему другое назначение, не нарушая никаких форм.

Представляя вышеизложенное на усмотрение вашего превосходительства, буду ожидать вашего распоряжения.

9 августа 1826 года

Слух о сборищах у вдовы Рылеевой, о котором я упоминал в предшествовавших моих письмах, вызван был следующим фактом, удостоверенным официальным донесением по сему предмету. Г-жа Малютина, узнав, что вдова Рылеева уезжает в Пензу, обратилась к военному губернатору с просьбой о возвращении ей бумаг, касающихся опеки ее детей, опекуном которых был покойный Рылеев. Вследствие этого полицейский офицер в сопровождении поверенного Малютиной, коллежского асессора Сутгова, отправился к Рылеевой за означенными бумагами. Это-то обстоятельство и подало повод говорить о сборищах. Старая карга Миклашева, вовлекшая в несчастье некоего Жандра, своим змеиным языком распускала эти слухи.

Между дамами — две самые непримиримые и всегда готовые разрывать на части правительство: княгиня Волконская и генеральша Коновницына. Их частные кружки служат средоточием для всех недовольных, и нет брани злее той, какую они извергают на правительство и его слуг.

Вот эпиграмма на князя Куракина, повторяемая во всех обществах и возбуждающая общий смех, так как дает повод к бесконечным комментариям:

Велик и славен был
Куракин в жизни сей!
И подданных морил,
И погребал царей.

Хочу прибавить несколько общих замечаний, сделанных

реформаторами, число которых все увеличивается, хотя в большей части случаев они люди весьма благонамеренные.

«Было бы необходимо установить большее единство во всем, что касается исполнительной части. Таким образом, не ограничивая привилегий, которыми пользуются некоторые из присоединенных к империи провинций, можно было бы принять за правило, чтобы все правительственные распоряжения исполнялись повсюду во всем их объеме. Но главное — необходимо изгнать всякую идею о конституционном правлении, для чего лучше всего было бы возвращаться мало-помалу к прежнему порядку вещей. Нелишним было бы также позволить и даже внушить журналистам, чтобы они писали об этом предмете, выставляя его с хорошей стороны. Затем верное средство парализовать усилия нововведений это сделать их смешными, тогда они не могут уже иметь никакого влияния на умы, слишком жадные ко всякой новинке».

Полиция решилась наконец арестовать некоего Горецкого, за которым мы следили уже несколько месяцев. Этот человек проживал здесь более шести лет без всякого паспорта или какого-либо иного вида и на днях собирался бежать. Полиция нашла также необходимым обратить внимание на Мордвинова, который должен быть выслан отсюда сегодня или завтра.

10 августа 1826 г.

Я должен поговорить с вашим превосходительством об одном обстоятельстве, настолько же нелепом, как и неприятном во многих отношениях.

Полиция отдала приказание следить за моими действиями и за действиями органов надзора. Полицейские чиновники, переодетые во фраки, бродят около маленького домика, занимаемого мною, и наблюдают за теми, кто ко мне приходит. Положим, что мои действия не боятся дневного света, но из этого вытекает большое зло: *надзор, делаясь сам предметом надзора, вопреки всякому смыслу и справедливости*^[13], — непременно должен потерять в том уважении, какое ему обязаны оказывать в интересе успеха его действий.

Употребляемые полицией сыщики разглашают дело, и им это не запрещается. Я предупредил об этом г. Дершау, но он делает вид, что ничего не знает. Можно контролировать мои действия — я ничего против этого не имею, даже был бы готов одобрить это, — но посылать подсматривать за мною и за навещающими меня лицами таких болванов, на которых все уличные мальчишки указывают пальцами, — это слишком уж непоследовательно, чтобы не сказать более.

Ко всему этому следует прибавить, что *Фогель* и его

сподвижники составляют и ежедневно представляют военному губернатору рапортики о той, что делают и говорят некоторые из моих агентов. Это, положим, в порядке вещей, но смею надеяться, что экспромтам этим не прежде поверят, как убедившись сначала в их справедливости. Тяжелый опыт сделал меня, быть может, слишком осторожным, — но я должен быть таким для пользы дела.

Вот еще несколько замечаний, сделанных в разных кружках и которые могут служить оправданием моих опасений.

«Государь в особенности заявил себя против всяких двусмысленных или извилистых действий; это факт, хорошо известный; между тем встречаются люди, пытающиеся противиться развитию полезных мер, которые должны содействовать к улучшению порядка управления и к устройству его на прочных основаниях. Самое большое зло, представляющееся правительству, — это эгоизм должностных лиц и жажда всюду первенствовать. Они не могли бы, конечно, достигнуть этой цели, если бы не имели своих приверженцев, которые стараются составить себе карьеру, в ущерб общественному делу. Начальники не смеют прямо задевать их, не желая ослабить свою партию, и потому, замечая зло, все-таки терпят его из личных видов.

Личный состав чиновников должен быть избран из людей ненуждающихся, которые могли бы посвятить себя служению общественному делу. Увеличение издержек на содержание двора повлечет за собой большие расходы и поставит правительство в затруднительное положение. Надо создать источник умножения доходов!.. Увеличить налоги — это средство, к которому не следует, да и не пожелают обращаться; поэтому придется навестывать экономию в расходах. Уменьшение военных сил, с одной стороны, и повышение ценности бумажных денег — с другой, представляются двумя необходимыми мерами для достижения предположенной цели, хотя привести в исполнение эти меры будет нелегко. Увольнение во временные отпуска части нижних чинов, конечно, сделает экономию в бюджете расходов по содержанию армии, но что делать с массой офицеров, которые останутся без всякого дела? Определить их на гражданские должности? Но многие из них вовсе не подготовлены к подобного рода деятельности. Между тем весьма важно дать им определенные занятия, чтобы не создать толпу тунеядцев, эту общественную заразу во всякое время, а тем более при настоящих обстоятельствах, когда всякий рассуждает, когда все — даже воспитанники учебных заведений — считают себя призванными обсуждать общественные дела...»

Примите уверения и проч. Фок.

Русская старина, 1881, сентябрь.

Донесения агента III отделения из Москвы (1848 г.)

1

Секретно

26 марта 1848 г., № 8. Москва

Его превосходительству Леонтию Васильевичу Дубельту

Впечатление, произведенное Манифестом, возвестившим о смутах на западе Европы, были слезы восторженных русских чувств. Я приехал в Дворянский клуб в ту минуту, когда шел вопрос, каждого тут бывшего, к приезжающему знакомому: «Читатели ли?» — «И у нас есть Манифест (ибо слышали предварительно о нем). Да Что же вы опоздали, вот один из членов прекрасно придумал, как столпились в газетной, что прочитал вслух». Слыша это, сильно билось во мне приверженное сердце, я слезлив в радости, а совладел с моими глазами, чтоб с осторожной зоркостью видеть глаза других, и у многих видел их влажными. Свидетельствуюсь Богом всемогущим, что лезть никогда не управляла ни языком, ни пером моим; покойный отец мой удалил от души моей это зло; продолжаю писать, как истинно видел, как слышал; я слышал, и весьма заметно было, что голос дребезжал в отзывах о Франции, Австрии и Пруссии, Но когда речь возвращалась к Манифесту, речи становились твердые; твердость как бы почерпалась из самого Манифеста, он так всем был по сердцу, как будто каждый участвовал в написании его. Тут послышался от кого-то вопрос: «Кто бы писал его?» Этот вопрос издавна существует при сильных впечатлениях от того, что изложениями получили известность в 1812 году Шишков и прочие. Я был на этот раз превращен в молчание, в слух, сердце мое жаждало одного ответа и услышало желаемый ответ: «Кому писать это? Без сомнения Сам писал». Таково было виденное мною впечатление, где, выражусь просто, каждый рос душой, чувствовал, что он русский, что он сын Воззавшего к сердцам русских, — и видно было, что для русского сердца не бывает иных воззваний, кроме того, чье сердце помазавшего Его. Истинно этот Манифест был утверждающим, освящающим помазанием сердца.

Так истинно, так я видел, я слышал.

Не могу при том скрыть, переливая в сердце мое каждое слово Вашего драгоценного доверия и «чтоб я писал со всей откровенностью», чтоб не доложить, что после послышался при

вопросах: кто бы писал? — одного какого-то отзыв: «Чай, Киселев писал». Тон этого отзыва, кажется, заключал в себе ясную иронию на этого сановника. Без сомнения, до Вас доходило, что дворянство не любит его, потом слышны были те же отзывы об Манифесте уже не в клубе и следующие слова о Государе: «Да приласкай он дворянство, так, ей-богу, все двинется, куда только прикажет».

В среднем сословии и черни поняли так, но лучше употреблю и выражение их: «Вот союзные державы от нас отказались, и француз идет на нас войной» — и поэтому некоторые из дворян, желающие умничать (но все с благонамеренными сердцами), поумничали в суждениях, что Манифест прекрасный, но что будто, на что было писать его, на что употребить было слово, что дерзость *угрожает* и России, вот это слово угрожает немногим не понравилось, но и это самое умничество о выражении, не выражает ли только пустое умничество, а, однако ж, показывает русское сердце если не по уму, то в чувствах.

Я считаю, что лучшие агенты для чиновника — это добрые дела, коих он был исполнителем от благотельного начальства, — благодарность редка, но неподкупна, когда сам исполнитель неподкупен, вот из таких ходит ко мне один старик хлебник (но не мой) Сидор, который и к Вам хаживал у него большая семья, большая артель; истинно случилось же так, что когда я ему объяснил, в чем дело, и он мне сказал: «Ну, барин, спасибо, ведь я почти во все трактиры ставлю хлеб, так если будут врать, что все на нас войной идут, я ведь не назову тебя, а скажу, что они попусту тревожатся и войны никакой у нас нет», — случилось же так, что на другой же день вышла газета со статьей из Санкт-Петербурга, объясняющей точно так толки, и этой статьей для народа вообще довольны.

Ни о дерзких, ни о ропотных суждениях здесь нет слухов, вырываются в гостиных выражения: не было бы чего? Но слава Богу, не видно никакого основания к опасениям утешительно то, что не к русским клонятся предположения возможностей, а все к полякам. Дай Бог, чтоб ничего и не было основательного для опасений, но какие слухи даже из вздорных будут позначительнее, не премину с неограниченной искренностью доложить.

Здесь много говорили и в гостиных, что граф Алексей Федорович [Орлов, тогда шеф жандармов и начальник III отделения] послан в Вену, и так утвердительно говорили, что по тамошним смутам сердце боялось, пусть хоть и теперь утверждают это, но Ваше милостивое письмо, из которого видно, что граф в Санкт-Петербурге, втайне мною хранимое, успокоило

приверженного.

Секретно.

30-го марта 1848 года, Москва

По приказании Вашем от 23-го марта дозволив мне писать неофициальным письмом, Вы как будто милостиво угадали, что у меня около глаза сильный ревматизм, такой, что сегодня мне поставили шпанскую мушку к затылку и что я должен даже докладывать Вам, диктуя моему писарю, в верности и глубокой скромности коего не имею причин сомневаться.

И пишу к Вам с неограниченной искренностью, как к отцу родному, прося Вас нисколько не думать о моей простуде и не останавливаться утомлять меня Вашими приказаниями. И с больным глазом Господь не лишает меня света душевного, и в ревматизме я пламенно усерден в верноподданнической службе и убеждаю Вас при поставленной мне шпанской мушке на затылке, никак не брить мне затылка от Вашего драгоценного мне доверия. Третьего дня принесли мне повестку о секретном пакете, это было воскресенье, и по правилам почту получить было нельзя — получил вчера, а сегодня доношу Вам в ответ — кажется, нельзя поспешнее.

Коротенькое, но заключающее в себе важность, приказание Ваше я прочитал не раз и затаив от всех в душе моей тайну вопроса, хотя и был тотчас готов ответить Вам: что касательно политических в Европе обстоятельств, здесь, благодарение Господу, в народном духе ничего дурного не видно и не слышно; но желал проверить изыскиваемые мною основательные сведения и поехал как будто пить чай к здешнему голове, богачу и владельцу огромной фабрики Лепешкину. Я не балую купцов частыми посещениями за их визиты, и особенно Лепешкин тем более рад моим приездам и, когда нет никого, беседует со мной довольно искренно.

Извлечение из разговора с ним Вам яснее покажет незаметную для хозяина дома проверку моих сведений о духе народа. Начало всякого разговора теперь чужие края, так и началось, потом он за келью стал говорить о непомерной слабости Щербатова к Лужину [московскому обер-полицмейстеру того времени], о затруднениях головы Градского им угождать, а потом, что прошедший вторник Щербатов [московский генерал-губернатор] присылал за ним и просил его, что как до него дошли сведения, что будто некоторые фабриканты хотят ссылать фабричных, то чтобы убеждать их оставить и чтобы они не притесняли их в расчетах. Голова вследствие этого созвал (кажется, он назвал) старост, которые имеют влияние на фабрики,

и они доставили через несколько дней сведения, что никто не думает ссылать фабричных и расчетов притеснительных нигде нет. Так и доложил Лепешкин Щербатову, вразумляя его: что никто из купцов не ссылает рабочих, а к Пасхе они сами в свои селения отходят, и после Святой недели через две, судя по разливам рек, они опять возвращаются. Лепешкин сам не понимает, с чего Щербатов это взял, а мне это дало прямой случай взойти с головой в разговор о фабричных.

Фабричные, говорил Лепешкин, думали, что будет война, но боялись не французов и не войны, а большого рекрутского набора; а теперь благодаря Бога, что нет набора, а как слышали о французах, то, право, закипели русским духом, так поговаривая: «Ведь уже было, что у них закружилась голова на Руси, — так, видно, опять захотелось отведать, каковы русские», — и вообще Лепешкин говорит, что «так тихи, так ведут себя, что лучше требовать нельзя», прибавлю еще что и в иностранцах, магазинщиках и ремесленниках, заметно не только сожаление, но даже омерзение к переворотам, случившимся за границей.

Дай Бог, чтоб я и впредь вам мог докладывать таковые сведения о русском духе. Ей-богу, теперь все тихо, у русских в душе Бог и царь, что этого тверже, и верьте, что *это здесь всему основание*. Простите мне мою неограниченную искренность батюшка Леонтий Васильевич, все единогласно отдают цену Москве, что при бестолковости Щербатова и неспособности Лужина быть обер-полицмейстером все держится внутренней привязанностью к царю и личной привязанностью к великому духу Государя. — Батюшка, уладьте, чтоб Лужина хоть егермейстером сделали, но дайте на это место человека достойного, ведь Лужина просто презирают, просто говорят: чего и ждать от него, когда его баба била по роже, офицеры говорили ему грубости и даже купец, поставщик полиции дров Иван Васильевич Волков, ему в доме Щербатова и при Щербатове в глаза дерзко правду высказал, выражаясь именно: «Ошибаешься, молодой генерал». И Лепешкин также рассказывал это, если Вы об этом других спросите, то помирволят, если спросите Лепешкина, скажет, как купец, что он и мне не говорил, а напишите ко мне: чтоб я от него попросил искреннего сведения о состоянии здешнего управления в отношении к Думе, он бы от меня не отделался, чтоб не написать к Вам, когда бы в письме ко мне изволили сказать: что это останется в глубокой тайне, которую и он хранить обязан, — что бы вы ни узнали, особенно если б молвили об его уме, ибо он очень самолюбив. Но ни в каком случае не делайте на место Лужина здешних

полицмейстеров, ей-богу, ни один не способен, но попробуйте переместить Вашего Санкт-Петербургского в Москву, а здешнего к вам, тогда ближе рассмотрите.

Повторяю мое всепокорнейшее извинение, что сам не пишу, ибо наклониться не могу и левый глаз опух, я и вчера имел опухоль, но, вероятно, это бросилось к глазу при возвращении вечером от Лепешкина, от сырости, когда ехал по мосту через Москву-реку, которой лед уже прошел.

Былое, 1906, ноябрь.

К характеристике III отделения

Выпуск 1848 года из училища (правоведения) был вообще благонадежный и хороший, но поступивший с августа 1848 года в 1-й класс, напротив, весьма нехороший тем, что в нем наполовину были неблагонадежные молодые люди и в религиозном, и в политическом, и в нравственном отношениях (даже нигилисты). И с этими-то дурными элементами пришлось мне бороться в 1848/49 учебном курсе, подобно тому как император Николай в то же время боролся с польской революцией и вне, и внутри России. Внутри ее сугубо усилилось действие пресловутого III отделения, бывшего в то время высшего полицейского учреждения, под управлением графа Орлова, но, в сущности, генерала Дубельта, души этого отделения. Шпионы и шпионство усилились до крайности, и им подверглись все учебные заведения в Петербурге, в том числе и училище правоведения. Однако заговор Петрашевского в 1848 году был открыт не Дубельтом, а начальником петербургской сыскной полиции Синицыным и доложен императору Николаю не Орловым, а министром внутренних дел графом Львом Алексеевичем Перовским. Открытие этого заговора еще более усилило шпионство, особенно со стороны Дубельта и III отделения. Вот в какое положение я попался по назначении меня директором училища правоведения. К счастью, этот злополучный 1848 год прошел для меня благополучно, хотя не без борьбы в училище, много причинившей мне горя, стоившей много труда и расстройства здоровья. Но в конце зимы 1848/49 гг. случилось в училище прискорбное для меня событие.

Однажды является ко мне воспитанник 3-го класса, носивший несчастную фамилию Политковского (в январе 1853 г. обличенного в расхищении кассы комитета инвалидов, а воспитанник был родственник его). Это был жалкий идиот, вечно без денег и просивший милостыню у товарищей. Явившись ко мне, он объявил, что получил приглашение явиться в III отделение. «Зачем?» — спросил я. «Не знаю». — «Оттуда, когда узнаете, явитесь ко мне и скажите». Но он не явился, а вскоре затем приехали ко мне адъютант графа Орлова и два жандармских: штаб-офицер и обер-офицер с предписанием Орлова немедленно арестовать воспитанников 3-го класса Беликовича и князя Гагарина и с их бумагами, вещами и дядьками доставить в III отделение. Это было исполнено, и я, в крайнем недоумении, не знал, что сей сон значит, хотя предугадывал тут что-то недоброе. Я ждал, не пригласит ли

Дубельт меня к себе, или не придет ли сам ко мне, или же не пришлет ли кого для объяснения со мной. Но напрасно было мое ожидание в продолжение двух недель или более. И вдруг, как бомба, разразилось над моею головой нечто вовсе непредвиденное и неожиданное! Принц Ольденбургский пригласил меня к себе, и в присутствии своего доверенного адъютанта, полковника С. И. Мальцова, показал мне дело III отделения о воспитанниках Беликовиче и кн. Гагарине, обвиняемых: первый в том, что в его бумагах был найден писанный на польском языке дневник, с сочувствием Мирославскому мыслями и выражениями, а второй — в том, что за завтраком или обедом будто бы сказал товарищам: «Нужно повесить». Сверху была следующая резолюция императора Николая:

«Вот они, поляки, все один как другой! Беликовича разжаловать в рядовые и сослать в отдаленный Оренбургский линейный батальон; Гагарина же определить юнкером в один из полков Московского корпуса, с тем чтобы отец его сам наказал, а директору училища (то есть мне) объявить строжайший выговор с внесением в формуляр»

Плохо пришлось бы мне, если бы добрейший принц Ольденбургский сам лично, через Орлова, не упросил императора Николая не вносить выговор мне в формуляр. Кн. Гагарина участь была смягчена потому, что мать его, рожденная Сабурова, была другом и приятельницей принцессы Ольденбургской, и Гагарин, прослужив несколько времени юнкером, был произведен в офицеры на Кавказе, где служил долго, позже был адъютантом военного министра и умер в чине генерал-майора. Что касается до Беликовича, то он, прослужив солдатом, кончил жизнь на приступе одного пограничного азиатского укрепления.

Необходимо, однако, хотя теперь более сорока лет спустя после сего происшествия, раскрыть всю подкладку этого события, завершившегося столь суровым судом. Беликович, 15-ти лет, уроженец Витебской губернии, католик, был прекрасный, умный мальчик, один из первых в классе по учению, но с горячий, пылкой головой, к сожалению восторженной польскими идеями, и имел неосторожность вести откровенно свой дневник на польском языке и оставлять его в своей классной лавке, вместе с учебными тетрадями. А воспитатели этого 3-го класса не заботились осматривать тетради воспитанников, что было прямо обязанностью их, а не директора. Они (с некоторыми исключениями) оберегали более себя, чем воспитанников и директора, и служили плохими помощниками директору.

Князей Гагариных в первой половине 1848 года было два

брата, из которых один, лентяй и возмутитель других, был уволен из младших классов училища, а другой остался, но также был не очень благонадежен, однако дотащился до 3-го класса. Политковский был нищий идиот, в презрении у товарищей, и ничего путного не обещал. Он-то и оказался самым пригодным орудием Дубельту, чтобы спасти себя и свою репутацию, вследствие открытия заговора Петрашевского не им, Дубельтом (le general Double, как его звали по-французски), а Перовским через Синецына. Говорили, что император Николай, утром после открытия заговора Петрашевского, встретил входившего в кабинет Орлова словами: «Хорош! Открыт заговор, а я узнал об этом не от тебя, а от Перовского! Узнай и доложи почему?» Орлов — к Дубельту, а этот, как казна, которая в огне не горит и в воде не тонет, недолго думая и не далеко ходя, закинул свою удочку поблизости — в училище правоведения, привлек идиота Политковского и выманил у него донос на товарищей его же класса, Беликовича и князя Гагарина, следствием чего и было все изложенное выше... Вновь повторяю, если б не добрейший принц Ольденбургский — хвала ему и честь, — директор училища правоведения, 23 года с честью носивший мундир Генерального штаба, навсегда стал бы жертвой ужасной случайности, в которой ни в чем не был повинен. Ведь еще у римлян, по их законам, не обвиняли подсудимого, не выслушав его оправдания, а в училище правоведения, в России, в 1849 году, никто и не потребовал объяснения директора.

Из воспоминаний кн. Н. С. Голицына (директора училища правоведения).

Русская Старина, 1890, ноябрь.

Глава IX

Общественное движение при Николае I

Казнь на Кронверкской куртине 13 июля 1826 года не могла разом остановить или изменить поток тогдашних идей, и, действительно, в первую половину николаевского тридцатилетия продолжалась, исчезая и входя внутрь, традиция Александровского времени и декабристов. Дети, захваченные в школах, осмеливались держать прямо свою голову, они не знали еще, что они арестанты воспитания.

Так они и вышли из школ.

Это уже далеко не те светлые, самонадеянные, восторженные, раскрытые всему юноши, какими нам являются при выходе из лица Пушкин и Пущин. В них уже нет ни гордой, непреклонной, подавляющей отваги Лунина, ни распущенного разгула Полежаева, ни даже светлой грусти Веневитинова. Но еще в них хранилась вера, унаследованная от отцов и старших братьев, вера в то, что «она взойдет — заря пленительного счастья», вера в западный либерализм, которому верили тогда все: Лафайет и Годафруа, Кавеньяк, Бёрне и Гейне. Испуганные и унылые, они чаяли выйти из ложного и несчастного положения. Это та последняя надежда, которую каждый из нас ощущал перед кончиной близкого человека. Одни доктринеры, красные и пестрые — все равно, легко принимают самые страшные выводы, потому что они их собственно принимают *in effigie*, на бумаге.

Между тем каждое событие, каждый год подтверждал им страшную истину, что не только правительство против них, <...> ^[14] но что и народ не с ними, или по крайней мере, что он совершенно чужой: если он и недоволен, то совсем не тем, чем они недовольны. Рядом с этим подавляющим сознанием, с другой стороны, развивалось больше и больше сомнение в самых основных, незыблемых основаниях западного воззрения. Почва пропадала под ногами; поневоле в таком недоумении приходилось в самом деле идти на службу или сложить руки и сделаться лишним, праздным. Мы смело говорим, что это одно из самых трагических положений в мире. Теперь лишние люди — анахронизм, но ведь Ройе Коллар или Бенжамен Констан были бы теперь тоже анахронизмом, однако нельзя же за это пустить в них камнем.

Пока умы оставались в тоске и тяжелом раздумье, не зная, как выйти, куда идти, Николай шел себе со стихийным упорством...

Воспитание, о котором он мечтал, сложилось. Простая речь, простое движение считались такой же дерзостью, преступлением,

как раскрытая шея, как расстегнутый вороник. И это продолжалось тридцать лет...

Разумеется, средь этого несчастья не все погибло. Ни одна чума, ни даже тридцатилетняя война не избила всего. Человек живуч. Потребность человеческого развития, стремление к независимой самобытности уцелело, и притом всего больше в двух македонских фалангах нашего образования, в Московском университете и Царскосельском лицее, они пронесли через все царство мертвых душ, на молодых плечах своих, кивот, в котором лежала будущая Россия, ее живую мысль, ее живую веру в грядущее.

История не забудет их.

Но в этой борьбе и они по большей части утратили молодость своей юности, они затянулись и преждевременно перерели. Старость их коснулась прежде гражданского совершеннолетия. Это не лишние, не праздные люди, это люди озлобленные, больные душой и телом, люди, запахнувшие от вынесенных оскорблений, глядящие исподлобья и которые не могут отделаться от желчи и отравы, набранной ими больше чем за пять лет тому назад. Они представляют явный шаг вперед, но все же болезненный шаг, это уже не тяжелая хроническая летаргия, а острое страдание, за которым следует выздоровление или похороны.

По воспоминаниям Александра Герцена

Кружки 30-х годов

Тридцать лет тому назад Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, а в них было наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах неостывшего кратера.

В самой пасти чудовища выделяются дети, не похожие на других детей, они растут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные, напротив, всем гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа, но остаются, и если умирают на полдороге, то не все умирают с ними. Это начальные ячейки, зародыши истории, едва заметные, едва существующие, как все зародыши вообще.

Мало-помалу из них составляют группы. Более родное собирается около своих средоточий, группы потом отталкивают друг друга. Это расчленение дает им ширь и разносторонность для развития, развиваясь до конца, то есть до крайности, ветви опять соединяются, как бы они ни назывались — кругом Станкевича, славянофилами или нашим кружком.

Главная черта всех их — глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды, их окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из нее — а у некоторых порывистое желание вывести и ее самое.

Возражение, что эти кружки, незаметные ни сверху, ни снизу, представляют явление исключительное, постороннее, бессвязное, что воспитание большей части этой молодежи было экзотическое, чужое и что они скорее выражают перевод на русское французских и немецких идей, чем что-нибудь свое, — нам кажется очень неосновательным.

...Если аристократы прошлого века, систематически пренебрегавшие всем русским, оставались в самом деле невероятно больше русскими, чем дворовые оставались мужиками, то тем больше русского характера не могло утратиться у молодых людей оттого, что они занимались науками по французским и немецким книгам. Часть московских славян с Гегелем в руках вошли в ультраславянизм.

Самое появление кружков, о которых идет речь, было естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни.

О застое после перелома в 1825 году мы говорили много раз. Нравственный уровень общества пал, развитие было прервано, все

передовое, энергическое вычеркнуто из жизни. Остальные — испуганные, слабые, потерянные — были мелки, пусты; дрянь Александровского поколения заняла первое место, они мало-помалу превратились в подбострастных дельцов, утратили дику поэзию кутежей и барства и всякую тень самобытного достоинства; они упорно служили, они выслуживались, но не становились сановниками. Время их прошло.

Под этим большим светом безучастно молчал большой мир народа, для него ничего не переменилось, — ему было скверно, но не сквернее прежнего, новые удары сыпались не на его избитую спину. Его время не пришло. Между этой крышей и этой основой дети первые подняли голову, может, оттого, что они не подозревали, как это опасно, но, как бы то ни было, этими детьми ошеломленная Россия начала приходить в себя.

Их остановило совершеннейшее противоречие слов учения с бытиями жизни вокруг. Учителя, книги, университет говорили одно, и это одно было понятно уму и сердцу. Отец с матерью, родные и вся среда говорили другое, с чем ни ум, ни сердце не согласны, но с чем согласны предержавшие власти и денежные выгоды. Противоречие это между воспитанием и нравами нигде не доходило до таких размеров, как в дворянской Руси. Шершавый немецкий студент, в круглой фуражке на седьмой части головы, с миросокрушительными выходками, гораздо ближе, чем думают, к немецкому шпис-бюргеру; а исхудалый от соревнования и честолюбия *collegien* французский уже *en herbe l'homme raisonnable, qui exploite sa position*.

Число воспитывающихся у нас всегда было чрезвычайно мало, но те, которые воспитывались, получали не то чтоб объемистое воспитание, но довольно общее и гуманное, оно очеловечивало учеников всякий раз, когда принималось. Но человека-то именно и не нужно было ни для иерархической пирамиды, ни для преуспевания помещичьего быта. Приходилось или снова расчеловечиваться — так толпа и делала, — или приостановиться и спросить себя: «Да нужно ли непременно служить? Хорошо ли действительно быть помещиком?» За сим для одних, более слабых и нетерпеливых, начиналось праздное существование корнета в отставке, деревенской лени, халата, странностей, карт, вина, для других — время искуса и внутренней работы. Жить в полном нравственном разладе они не могли, не могли также удовлетвориться отрицательным устранением себя; возбужденная мысль требовала выхода. Разное разрешение вопросов, одинаково мучивших молодое поколение, обуславливало распадение на разные круги.

Так сложился, например, наш кружок и встретил в

университете, уже готовым, кружок сунгуровский. Направление его было, как и наше, больше политическое, чем научное. Круг Станкевича, образовавшийся в то же время, был равно близок и равно далек с обоими. Он шел другим путем, его интересы были чисто теоретические.

В тридцатых годах убеждения наши были слишком юны, слишком страстны и горячи, чтобы не быть исключительными. Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокаивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов и самую науку считали средством. Правительство постаралось закрепить нас в тенденциях наших.

В 1834 году был сослан весь кружок Сунгурова — и исчез.

В 1835 году сослали нас; через пять лет мы возвратились, закаленные испытанным. Юношеские мечты сделались невозвратным решением совершеннолетних. Это было самое блестящее время круга Станкевича. Его самого я уже не застал, он был в Германии, но именно тогда статьи Белинского начинали обращать на себя внимание всех.

Возвратившись, мы померились. Бой был неровен с обеих сторон, почва, оружие и язык — все было разное. После бесплодных прений мы увидели, что пришел наш черед серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и немецкую философию. Когда мы усвоили ее себе, оказалось, что между нами и кругом Станкевича спора нет.

Круг Станкевича должен был неминуемо распуститься. Он свое сделал, и сделал самым блестящим образом; влияние его на всю литературу и на академическое преподавание было огромно, — стоит назвать Белинского и Грановского, в нем сложился Кольцов, к нему принадлежали Боткин, Катков и проч. Но замкнутым кругом он оставаться не мог, не перейдя в немецкий доктринизм, — живые люди из русских к нему не способны.

Возле круга Станкевича, кроме нас, был еще другой круг, сложившийся во время нашей ссылки, и был с ними в такой же чересполосице, как и мы; его-то впоследствии называли славянофилами. Славяне приближались с противоположной стороны к тем же жизненным вопросам, которые занимали нас, были гораздо больше их ринуты в живое дело и в настоящую борьбу.

Между ними и нами, естественно, должно былоделиться общество Станкевича. Аксаковы, Самарин примкнули к славянам,

то есть к Хомякову и Киреевским. Белинский, Бакунин — к нам. Ближайший друг Станкевича, наиболее родной ему всем существом своим, Грановский был нашим с самого приезда из Германии.

По воспоминаниям Александра Герцена^[15]

В начале 40-х годов

Новые друзья приняли нас горячо, гораздо лучше, чем два года тому назад. В их главе стоял Грановский, ему принадлежит главное место этого пятилетия. Огарев был почти все время в чужих краях. Грановский заменял его нам, и лучшими минутами того времени мы обязаны ему. Великая сила любви в этой личности. Со многими я был согласен во мнениях, но с ним я был ближе — там где-то, в глубине души.

Грановский и все мы были сильно заняты, все работали и трудились, кто занимая кафедры в университете, кто участвуя в обозрениях и журналах, кто изучая русскую историю; к этому времени относятся начала всего сделанного потом.

Мы были уже далеко не дети; в 1842 году мне стукнуло тридцать лет, мы слишком хорошо знали, куда нас вела наша деятельность, но шли. Не опрометчиво, но обдуманно продолжали мы наш путь тем успокоенным, ровным шагом, к которому приучил нас опыт и семейная жизнь. Это не значило, что мы состарились, нет, мы были в то же время юны, и оттого одни, выходя на университетскую кафедру, другие, печатая статьи или издавая газету, каждый день подвергались аресту, отставке, ссылке.

Такого круга людей, талантливых, развитых, многосторонних и чистых, я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и аристократического. А я много ездил, везде жил и со всеми жил, революцией меня прибило к тем краям развития, далее которых ничего нет, и я по совести должен повторить то же самое.

...С любовью останавливаюсь я на этом времени дружного труда, полного, поднятого пульса, согласного строя и мужественной борьбы, на этих годах, в которые мы были юны в последний раз!..

Наш небольшой кружок собирался часто то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином, шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний; каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попало бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем.

Вот этот характер наших сходов не понимали тупые педанты и тяжелые школяры. Они видели мясо и бутылки, но другого

ничего не видели. Пир идет к полноте жизни, люди воздержанные бывают обыкновенно сухие, эгоистические люди. Мы не были монахами, мы жили во все стороны и, сидя за столом, больше развились и сделали не меньше, чем эти постные труженики, копающиеся на заднем дворе науки.

Грановский не был гоним. Он умер, окруженный любовью нового поколения, сочувствием всей образованной России, признанием своих врагов. Но тем не менее я удерживаю мое выражение, да, он много страдал. Не одни железные цепи перетирают жизнь; Чаадаев в единственном письме, которое он мне писал за границу (20 июля 1851 г.), говорит о том, что он гибнет, слабеет и быстрыми шагами приближается к концу, — «не от того угнетения, против которого восстают люди, а того, которое они сносят с каким-то трогательным умилением и которое по этому самому пагубнее первого».

Передо мной лежат три-четыре письма, которые я получил от Грановского в последние годы, какая разъедающая, мертвящая грусть в каждой строке!

«Положение наше, — пишет он в 1850 году, — становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом. Университеты предполагалось закрыть, теперь ограничились следующими, уже приведенными в исполнении мерами: возвысили плату со студентов и уменьшили их число законом, в силу которого не может быть в университете больше 300 студентов. В московском 1400 человек студентов, стало быть, надобно выпустить 1200, чтобы иметь право принять сотню новых. Дворянский институт закрыть, многим заведениям грозить та же участь, например лицею. Для кадетских корпусов составлены новые программы. Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы.

...Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее.

Я решил не идти в отставку и ждать на месте совершения судеб. Кое-что можно делать, пусть выгонят сами.

...Вчера пришло известие о смерти Галахова, а на днях разнесся слух и о твоей смерти. Когда мне сказали это, я готов был хохотать от всей души. А впрочем, почему же и не умереть тебе? Ведь, это не было бы глупее остального».

Осенью 1853 года он пишет: «Сердце ноет при мысли, чем мы были прежде (то есть при мне) и чем стали теперь. Вино пьем по

старой памяти, но веселья в сердце нет, только при воспоминании о тебе молодеет душа. Лучшая, отрадная мечта моя в настоящее время — еще раз увидеть тебя, — да и она, кажется, не сбудется».

Одно из последних писем он заканчивает так: «Слышен глухой, общий ропот, но где силы? Где противодействие? Тяжело, брат, — а выхода нет живому».

Грановский был не один, а в числе нескольких молодых профессоров, возвратившихся из Германии во время нашей ссылки. Они сильно двинули вперед Московский университет, история их не забудет. Люди добросовестной учености, ученики Гегеля, Ганса, Риттера и др., они слушали их именно в то время, когда остов диалектики стал обрастать мясом, когда наука перестала считать себя противоположною жизни, когда Ганс приходил на лекцию не с древним фолиантом в руке, а с последним номером парижского или лондонского журнала. Диалектическим построением пробовали тогда решить исторические вопросы в современности, это было невозможно, но привело факты к более светлому сознанию.

Наши профессора привезли с собой эти заветные мечты, горячую веру в науку и людей; они сохранили весь пыл юности, и кафедры для них были святыми аналогиями, с которых они были призваны благовестить истину они являлись в аудиторию не цеховыми учеными, а миссионерами человеческой религии.

По воспоминаниям Александра Герцена.

Петрашевцы

Я посещал вечера Петрашевского, бывавшие по пятницам, с весны 1848 года, и по совести можно было сказать, что беседы на этих вечерах были небезынтересны для каждого из присутствовавших. Да и могло ли быть иначе, когда тут собирался народ молодой, образованный, читающий и мыслящий, впечатления принимались живо, всякая несправедливость, злоупотребления, стеснения, самоуправство глубоко возмущали душу каждого; напротив, всякое стремление к благу общественному или частному вызывало сочувствие, в какой бы форме стремление это ни высказывалось. Цензура, убивавшая в то время всякую здравую мысль, не только не допускала гласного обсуждения напечатанных предметов общего интереса, но воспрещала даже малейший намек на то, что могло бы быть лучше, если бы было иначе; а в это именно время самоуправство всех и каждого из второстепенных агентов дошло до высшей степени: злоупотребления, лихоимство не имели границ, то нет ничего естественнее, что везде, где бывали люди разбора выше определенного, они прямо высказывали свои убеждения, совершенно противоположные грустному положению дел; когда же собиралось их по несколько человек, например по пятницам у Петрашевского, то они, как люди одинакового направления, свободно разменивались идеями, новостями, доходившими до каждого в литературе, политике, происшествиях столичных и провинциальных, с каким интересом следили за происшествиями на Западе! Припомним, что пятое десятилетие нашего века отличалось направлением к социальным реформам такое повсеместное направление высказалось наконец в февральской революции, объявшей всю Западную Европу. С такой любознательностью выслушивались на вечерах у Петрашевского изложения сочинений новейших реформаторов; но как все эти трогательные описания блаженствующих фаланстеров и иных ассоциаций были только увлекательные, но неприменимые к осуществлению теории, нам же, живущим в среде мира действительного, необходимо было знакомиться ближе с тем, что существует на нашей матушке-Руси, — то с общего согласия принято было предложение разделить вечера наши таким образом, что до ужина один из присутствующих будет излагать какой-либо общественный вопрос, в каком виде осуществляется он ныне в России; удобства или неудобства, осязаемые от такого, а не иного положения дела, и, наконец, изыскание, и если возможно, то указание средств к замене неудобных порядков

удобнейшими; а после ужина могло бы продолжаться изложение социальных теорий, которое тогда делалось Ник. Як. Данилевским, впоследствии тайным советником, знаменитым публицистом и ученым. При окончании каждого вечера объявлялось, о каком предмете, касающемся России, будет говорено в следующую пятницу и кем именно; кроме того, всегда находилось время побеседовать о текущих событиях как в России, так и за границей.

Так велись вечера до отъезда моего в Тамбов в июне 1848 года для составления военно-статистического описания губернии, так же продолжались они во все время моего отсутствия, с июня 1848 года по 1 апреля 1849 г. и до самого дня ареста, случившегося, как выше сказано, 23 апреля.

Я возвратился в Санкт-Петербург к 1 апреля 1849 года по предписанию генерал-квартирмейстера Берга, который имел намерение дать мне назначение в штаб гренадерского корпуса. В тот же день (Страстная пятница), посвященный утром представлениям к начальству, отправился я вечером к Петрашевскому; из 20 или 30 человек, которых я там нашел, большинство состояло из старых моих знакомых, но было несколько новых лиц, между прочими один блондин, небольшого роста, с довольно большим носом, с глазами светлыми, не то чтобы косыми, но избегающими встречи, в красном жилете. Этот господин, судя по участию, какое принимал он в разговорах, был не без образования, либерален во мнениях, но участие его было по преимуществу вызывающее других к высказыванию. Особенное внимание его ко мне, потчевание заграничными сигарами и вообще нечто вроде ухаживания заставили меня спросить, в конце вечера, Александра Пантелеевича Богосогло об этом господине; он отвечает, что это итальянчик Антонелли; способный только носить на голове гипсовые фигурки. «Для чего он здесь бывает?» — спросил я. «Да вы знаете, что Михаил Васильевич расположен принять и обласкать каждого встречного на улице».

На мой звонок Петрашевский, по обыкновению, сам отворил мне дверь; после первых приветствий, расспросов о пребывании моем в Тамбове Петрашевский говорит, что так как на этот вечер никто не вызван говорить о каком-либо предмете, то он изложит мнение свое о трех предметах, настоятельно и неотлагательно необходимых быть введенными для блага общего; предметы эти: уничтожение крепостного состояния, свобода книгопечатания и улучшение судопроизводства и судоустройства. Доказывать необходимость разрешения этих вопросов не было надобности в кругу людей, совершенно проникнутых убеждениями, что крепостное право, запретительная цензура и закрытое бумажное

судопроизводство суть тормоза к развитию; следовательно, речь Петрашевского была направлена к доказательству, на основании на статистических данных, в какой последовательности было бы необходимо решить эти важные вопросы. Он доказывал, что надо было придерживаться того именно порядка, в каком вопросы эти выше поименованы: сочувствие к участи миллионов белых негров имело влияние к постановлению на первый план вопроса об уничтожении крепостного права (Петрашевский сам был помещик Санкт-Петербургской губернии, Ладожского уезда).

После Петрашевского я говорил о том же предмете и доказывал, что прежде всего необходимо бы было решить вопрос об улучшении судопроизводства и судоустройства, потому что от неустройства этой части страдает все общество и каждый из членов его, за исключением небольшого числа привилегированных и денежных лиц, выигрывающих за счет тех, которые именно и заслуживают большого сочувствия, и как предмет этот не может быть решен иначе, как учреждением публичного и гласного судопроизводства, с необходимым разбором хода дел в газетах и журналах, — то это самое, естественным образом, парализуя строгость цензуры, последовательно ведет к свободе книгопечатания; затем уже общество, подготовленное двумя предыдущими мерами, легко перейдет к уничтожению крепостного права.

Из записок генерал-лейтенанта П. А. Кузмина.
Русская Старина, 1895, февраль.

Идеи петрашевцев

Обязательная подписка, найденная 19 мая в бумагах Спешнева, его рукой писанная:

«Я, нижеподписавшийся, добровольно, в здравом размышлении и по собственному желанию, поступаю в русское общество и беру на себя следующие обязанности, которые в точности исполнять буду:

1) Когда распорядительный комитет общества, сообразив силы общества, обстоятельства и представляющийся случай, решит, что настало время бунта, то я обязываюсь, не щадя себя, принять полное и открытое участие в восстании и драке — то есть, что, по извещении от комитета, обязываюсь быть в назначенный день, в назначенный час, в назначенном месте, обязываюсь явиться тогда и там, вооружившись огнестрельным или холодным оружием, или тем и другим, не щадя себя, принять участие в драке и, как только могу, споспешествовать успеху восстания.

2) Я беру на себя обязанности увеличивать силы общества приобретением обществу новых членов. Впрочем, согласно с правилами русского общества, обязываюсь сам лично более пяти (5) не афилировать.

3) Афилировать, то есть присоединять к обществу новых членов обязываюсь не наобум, а по строгому соображению, и только таких, в которых я твердо уверен, что они меня не выдадут, если бы даже и отступились после от меня; что они исполнят первый пункт и что они действительно желают участвовать в этом тайном обществе. Вследствие чего и обязываюсь с каждого мной афилированного взять письменное обязательство, состоящее в том, что он перепишет от слова до слова сии самые условия, которые и я здесь даю, все с первого до последнего слова, и подпишет их. Я же, запечатав оное его письменное обязательство, передаю его своему афильтеру для доставления в комитет, тот — своему и так далее. Для сего я и переписываю для себя один экземпляр сих условий и храню его у себя, как форму для афиляций других».

Выдержка наудачу из дневника поручика Монбели:

«...Служба наша так нелепо обставлена, что, при самом искреннем желании исполнять свои обязанности добросовестно, при самом педантичном взгляде на вещи, нет никакой возможности в точности исполнять все служебные обязанности согласно предписаниям, на это неостанет ни сил человеческих,

ни здоровья, хотя бы то был спартанец или сам Геркулес, служба наша в самое короткое время разрушает здоровье^[16], останавливает и притупляет умственные способности, истощает карман — и все это переносишь с совершенным убеждением, что тем не приносишь никому никакой пользы, ни отечеству, ни человечеству, ни ближним; напротив, видишь ясно, что службой вредишь себе прямо и отечеству косвенно, потому что содержание военных сил требует огромных сумм, часть которых могла бы быть употреблена на общественные пользы, *разумеется, если уничтожить достоинство императора, в противном случае он, по обыкновению, употребит все на свои прихоти, распорядится по своему... следовательно, службой не принесем пользы никому и вредим в особенности себе.* Деспоты, подчиняя служебную жизнь нашу таким диким условиям, руководствовались своими соображениями — деспотизм враждебен всякому умственному образованию и всякому истинному праву. Потому стараются всеми средствами унижить обыкновенных смертных, еще более их поработить, если то еще возможно, действуя непрерывным страхом. Офицер за неисполнение служебных обязанностей, подвергается страшным взысканиям, между тем как строго исполнять их нет физической возможности: следовательно, он непрерывно трепещет от страха, судьба его всегда на волоске, когда только захотят, его могут законно уничтожить, законно стереть с лица земли, минуту нашествия на несчастного выбрать удачно нетрудно, шпионы, которых в России так много, могут...

...О Россия! Ради Бога, опомнись, пока еще не все средства истощены, пока еще можно поправить зло; займы у Гопа и К⁰ сравнительно с богатством России еще не так значительны, хотя огромны, — и теперь еще пробегает холодный трепет по жилам при воспоминании о виденном мною кусочке хлеба, которым питаются крестьяне Витебской губернии мука вовсе не вошла в его состав: он состоит из мякины, соломы и еще какой-то травы, не тяжелее пуха и видом похож на высушенный конский навоз, сильно перемешанный с соломой. Хотя противник всякого физического наказания, но желал бы чадолюбивого императора в продолжение нескольких недель посадить на пищу витебских крестьян. Как странно устроен свет: один мерзкий человек — и сколько зла он может сделать, и по какому праву? Но мои стенания за истину и плачь о бедствиях рода человеческого, кажется, не сильнее гласа вопиющего в пустыне...

...Но все же мне кажется, что сенат римский имел более основания поднести Ромулу прозвание «мудрого», чем русский сенат Николаю. Первый заботился об общем благе граждан, второй же заботился, с дьявольским постоянством, об

уничтожении блага подданных и об увеличении собственного своего...

...Во главе возрождающейся Италии становится глава католицизма, папа Пий IX; в 50 с чем-то лет, с умом светлым и душой возвышенной, новый папа заботится об успехах цивилизации. Наместник св. Петра, непреременный защитник и распространитель предрассудков, главная опора деспотизма и всяких несправедливостей, вдруг в своих собственных владениях, страдавших под ультрадеспотизмом, вводит новые постановления, конституционное правление и за руководство берет кодекс Наполеонов. Да здравствует новый папа, дай Бог ему много лет! Влияние папы не ограничивается одною Италией, оно распространяется на весь католический мир; в Европе же при 250 миллионах жителей с лишком 100 миллионов католиков. Глава католицизма пренебрегает заманчивостью самодержавия, вводит конституцию и принимает деятельное участие в прогрессии развития идей; чем все теперь австрийские католики объяснят и оправдают свое бесчувственное раболепство? С другой стороны, в случае сознания австрийскими подданными своих прав, какая опора на Пиренейском полуострове? Влияние Франции неоспоримо; большая часть мелких германских государств сочувствует идеям Франции и ждет только удобного случая, чтобы освободиться от незаконного притеснения и основать господство правды. Пруссия усвоила основные идеи Франции и развивает их по-своему: в ней право гражданской свободы, нравственное перед законом, скоро восторжествует над притеснением и беззаконностью...

...Начавшийся спор Турции с Пруссией, при малейшей неосторожности со стороны первой, подаст повод России к вмешательству и вместе, следовательно, приблизит к разрешению труднейшей задачи новейшего времени — что перевесит: звено зла или начало добра, то есть деспотизм или гражданство свободы...

...Но зачем допускать дурные мысли, хочу верить хорошим, отдаю преимущество нравственным...^[17]

...То государство каст здесь, за исключением злоупотреблений, действительно обеспечивает права каждого; но самое то право большинства такого рода, что обеспечение их уже предполагает угнетение в пользу меньшинства и хранение прав которого на самой сущности дела есть уже злоупотребление; здесь при поддержании государственной связи каждый старается различными путями, простыми и косвенными, увеличить благосостояние членов своего семейства во вред других членов государства; но цивилизация не дремлет, понемногу просвещение

распространяется, ряд революций изменяет, улучшает государственное устройство, союз семейств падает, провозглашается равенство прав; уже целое государство составляет одно семейство, члены государства, братья, сближаются...

Что видим мы в России? Десятки миллионов страдают, тяготятся жизнью, лишены прав человеческих — или ради плебейского происхождения, или ради ничтожности общественного положения своего, или по недостатку средств существования; зато в то же время небольшая каста привилегированных счастливцев, нахально смеясь над бедствиями ближних, истощается в изобретении роскошных изъятий — тщеславия и низкого разврата, прикрытого утонченной роскошью.

Найденные в бумагах студента Филиппова десять заповедей:

Господь Бог открыл нам волю свою в десяти заповедях, которые дал Он Моисею на горе Синайской для того, чтобы люди исполняли и свято соблюдали их. Этих заповедей 10, вот они:

1) Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе Бози инии, разве мене.

2) Не сотвори себе кумира и всякого подобия, ели-ка на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах и под землею: да не поклонись им, да не послужишь им.

(Корысть, низкопоклонничество, угождение власти и богатству.)

3) Не возьмешь имени Господа Бога твоего всуе.

(Клевета, беззаконие в суде, царь земли — Бог. Все власти от Бога. То, что на божницах основали права свои цари земные.)

4) Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай, и сотворивши в них вся дела твоя, день же седьмой — суббота, Господу Богу твоему.

(Что значит положение крестьян, не соблюдающих?)

5) Что отца твоего и мать твою, да благо ти будет и додолжен будешь на земле.

6) Не убий.

(Убийство без нужды, обида ближнего, притеснения помещиков, убийство на войне.)

7) Не прелюбы сотвори.

(Что значит прелюбодейство?)

8) Не укради.

(Что значит красть собственную помещичью собственность, первоначально пользовались благами мира?)

9) Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна.

10) Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота, ни всего елика суть ближнего твоего.

Что говорится в первой заповеди?

В первой заповеди говорится, что есть только один Бог — и что, кроме него, нет иного Бога. Этот сильный Бог создал все, и без него не было бы ничего: ни неба, ни земли, никаких творений, живущих на земле, не было бы и человека. И так, человек должен любить Господа Бога, своего Творца, всем сердцем и всеми помышлениями и всегда жить по его святой воле. Кто преступил закон человеческий, виноват только перед людьми и прав перед Богом, ибо закон человеческий положен людьми, а, стало быть, люди и переменить его могут. А кто нарушит закон Божий, того покарает Бог муками вечными, ибо божественный закон дан от Бога, и человек не властен переменить его.

Что показывает вторая заповедь?

Показывает, чтобы для нас ничего не было дороже воли и правды Господней. Кто возлюбил мирские блага паче правды Божией, тот сотворил себе кумира, преступил вторую заповедь. (Нельзя служить двум господам, у нас один Господь.) Кто несправедливыми путями собирает богатство: воровством, обманом, грабежом, — тот возлюбил богатства паче Бога и Его святой правды. Горе вам, господа и начальники жестокосердые, что забываете заповеди Божии, ради мирских благ обижаете подвластных вам. Горе тому, кто в угоду начальству или господину творит всякие беззакония, ибо ради воли начальника. Горе и тем, кто может, но не хочет защищать бедных и утесненных. Горе вам, люди робкие, что боитесь защищать братьев, ибо вы возлюбили плоть больше правды Господней. Горе вам, ибо придет день суда, и примете все по делам вашим.

Что повелевает третья заповедь?

Третья заповедь запрещает призывать Господа Бога напрасно.

Кто клянется и божится, всеу приемлет имя Господа Бога, ибо в законе сказано: «Я же говорю вам, вовсе не клянитесь ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он град великого царя (Бога), ни головою своею не клянитесь, потому что не можете ни одного волоса сделать белым и черным. Но да будет слово ваше: да-да, нет-нет; а что сверх того, то от лукавого». И так начальники, приводя народ к присяге, поступают не по закону Божьему и примут тяжкое осуждение.

Кто скажет: царь земной — Бог, тот всеу приемлет имя Господа Бога, затем, что есть только один Бог. Он один царь неба

и земли; а цари земные так же люди, как и мы грешные, и когда все мы предстанем на суд Господень, не спросит Бог: кто был царь, кто господин, кто крестьянин, — а каждому воздаст по делам его. Царь должен быть первый слуга Богу и людям, ибо в Писании сказано: «Больший из вас да будет всем слуга», а также сказано: «Кто хочет быть у вас первым, будет вам раб». Царь, который забыл свой долг, не хочет заступиться за народ, унять господ и начальников, тот враг Богу и людям, и власть его не от Господа Бога, а от сатаны.

В четвертой заповеди сказано: «Помни день субботний, святи его, шесть дней делай, и сотвори в них все дела, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему». Что значит «святить день субботний» (а по-вашему воскресенье)? Это значит оставить в празднике Господень все дела мирские и обратиться сердцем к Творцу и Господу. А кто оставит дела свои ради пьянства и всяких богопротивных забав, не по божескому закону справляет праздник Господень, служит не Богу, а сатане. Лучше бы ему было, кабы не оставлял свои дела, ибо меньше бы грех сотворил.

Видели мы господ, что, почитай, целую неделю гоняют бедных крестьян на барщину. Придет праздник Господень, и рад бы мужик справить его по-христиански, да глядишь, то сено не убрано, то хлеб пора жать, то дров навозить, а дома и холодно и голодно. Как быть? Нетто станешь делать! Пошел мужик на работу, и в праздник ему не праздник. А кто причина, что мужик не справляет праздника Божия? Господин. Тяжкий ответ даст он Богу на суде Страшном, что ввел мужика в соблазн, ибо в Писании сказано: «Горе миру от соблазнов, но горе человеку, чрез которого соблазн происходит».

В пятой заповеди сказано: чти отца твоего и мать твою, да благо ти будет и долголетен будешь на земле.

Надо любить родителей но ради любви к ним не должно оставлять заповедей Божиих. И так, коли отец или мать стали посылать тебя на дело, противное заповедям Божиим, или стали удерживать от дела, угодного Богу, можешь не послушать их, ибо воля Господня паче воли родителей. Сам Спаситель, Господь Бог наш Иисус Христос сказал:

«Любящий отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня, любящий сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня».

В шестой заповеди сказано: кто убьет ближнего своего без нужды, того осудит Господь Бог на тяжкие мучения: Бог дает жизнь человеку, Бог *один* может отнять ее и послать смерть на человека; падет кровь неповинная на господ.

И как же, забывая слово Божие, начальники и господа слова

не вымолвят с нашим братом мужиком без брани? Забыли они слово Божие и не соблюдают святой его заповеди. Дадим ответ и мы, что попустили их обижать наших братьев пора унять беззаконников, да перестанут гневить Господа Бога, ибо коли не уйдем их, гнев Господень падет на всех нас. Мало того, чтоб не убивать человека, надо и не обижать ближнего, ибо обижающий ближнего подлежит суду, а кто скажет брату своему «рака» (пустой человек), подлежит верховному судилищу; кто же скажет «бессовестный», подлежит геенне огненной. Нарушающий слово Божие — смертью да умрет. Все вы идете смотреть, как наказывают мужиков, что посмели ослушаться господина или убили его. Разве вы не понимаете, что они исполнили волю Божью и что принимают наказание, как мученики, за своих ближних? Разве не будете защищаться, коли нападут на вас разбойники? А помещик, обижающий крестьян своих, не хуже ли он разбойника?

Не должно быть и войне, ибо все люди, по слову евангельскому, должны жить, как братья, и потому начинающий войну даст ответ на суде Страшном, а кто защищается, тот не повинен в крови братьев. И так, если пойдем войной на чужой народ, согрешим; но всех более согрешит царь, что начинает войну и ведет народ свой на убийство, ибо в Писании сказано: «На начинающего Бог». Ответит и народ, который пустил своих братьев на убой.

В седьмой заповеди сказано: не прелюбодействуй. Сообщение должно быть по любви и должно быть освящено Богом. Брак по расчету не освятится Богом, и потому — прелюбодеяние, ибо лжет во время обряда; брак по принуждению родителей — прелюбодеяние, брак по назначению помещика — прелюбодеяние, и еще больший грех и для помещика, и для жениха с невестой. (Об насиловании, кстати и об насиловании помещиков.)

Речь Ханыкова на обеде в память Фурье:

«Я начинаю говорить с тем увлечением, какое внушает мне и наше собрание, и то событие, которое мы празднуем здесь (то есть день рождения Фурье), событие, влекущее за собой преобразование всей планеты и человечества, живущего на ней». Далее Ханыков говорил в своей речи о законе победителей и побежденных, о борьбе сословий с древности и до нашего времени и о том, что «в этой борьбе надо признать неудовлетворенность страстей и что нейтрализовать, уничтожить этот закон может только учение Фурье». Далее Ханыков перешел к характеристике печального состояния тогдашней России и в

закключение сказал: «Весь недостаток и все изумительное величие нашей системы, господа, есть новый мир, открытый нашим учителем и совершенно противоположный действительному порядку вещей. Нам, нашей школе следует пополнить пробел в системе. Как открытие ни будь истинно, благотельно само по себе, но по невежеству большинства, вытекающему из теперешней организации общества, оно не может быть принято скоро и повсеместно, и всякая новая идея выдерживала и выдерживает до сих пор борьбу упорную, сильную. Но не нам бояться этой борьбы, когда ее вызвали неопровержимые доводы нашей науки, наш тесный, дружный союз на всех концах земного шара, во имя ее начала и закона... Преображение близко!»

Речь Д. Д. Ахшарумова:

«Жизнь, как она теперь, — тяжела, гадка; мы все несчастны, и можно ли быть счастливым в этом обществе, в котором мы живем? И так как порядок установленный противоречит главному, основному назначению нашей человеческой жизни, как и всякий другой, то он непременно рано или поздно прекратится, и вместо него будет новый, новый и новый. Когда? — вот это важный вопрос, и мы можем только отвечать, что скоро. Уже тот факт, что мы сознаем недостатки, ошибки в устройстве нашей жизни, и уже представляется нам в общих чертах новая жизнь, — этот самый факт доказывает, что началось время его разрушения. И рухнет, и развалится все это дряхлое, громадное вековое здание, и многих задавит оно при разрушении и из нас, но жизнь оживет, и люди будут жить богато, раздольно и весело. — Мы в столице безобразной, громадной, в чудовищном скопище людей, томящихся в однообразных работах, испачканных грязным трудом, пораженных болезнями, развратом, в скопище, разрозненном семействами, которые, вредя друг другу, теряют время и силу и объединяются в бесполезных трудах. И там, за столицей, ползут города; единственная цель, высочайшее счастье для них — сделаться многолюдным, развратным, больным, чудовищным, как столица! В эти дни, в этом самом обществе, мы собрались сегодня не для жалоб, но, напротив, полны надеждой, торжеством... Мы даем обед и празднуем грядущее искупление человечества, — сегодня, именно сегодня, в день рождения Фурье, чтим его память, потому что он указал нам путь, по которому идти, открыл источник богатства, счастья. Сегодня — первый обед фурьеристов в России, и все они здесь: десять человек, немногим более. Все начинается с малого и растет до великого. Разрушить столицы, города и все материалы их употребить для других зданий, и всю эту жизнь мучений,

бедствий, нищеты, стыда, срама превратить в жизнь роскошную, стройную, веселья, богатства, счастья, и всю землю нищую покрыть дворцами, плодами и разукрасить в цветах — вот цель наша. Мы здесь, в нашей стране, начнем преобразование, а кончит его вся земля. Скоро избавлен будет род человеческий от невыносимых страданий».

«Петрашевы», изд. В. М. Саблина. М., 1907.

Арест Петрашевцев 1849 года

21 апреля шеф жандармов А. Ф. Орлов представил Николаю Первому обзор всего дела, списки участвующих и план их арестов. Эти документы А. Ф. Орлов сопроводил следующей запиской:

21-го апреля

Посылаю Вашему Величеству записки об известном деле, из которых вы изволите усмотреть:

1-е, обзор всего дела, 2-е, три тетради с именным списком участвующих, и с описанием действий каждого из них, и с указанием их места жительства.

В обзоре Вы изволите усмотреть удобное средство к аресту виновных. Предложение это будет исполнено, ежели Ваше Величество не сделаете каких-либо изменений.

По моему мнению, это вернейшее и лучшее средство.

Долгом считаю присовокупить, что ежели Вы удостоите предположение мое Вашим утверждением, то Высочайшая воля Ваша насчет Кропотова [первого кадетского корпуса поручик] должна измениться, а потому не прикажете ли доставить его к Вашему Величеству 23 апреля в 7 часов утра или в другое Вам удобное время.

Гр. Орлов».

Государь положил свою резолюцию не на этой записке Орлова, а на другой, в которой граф писал:

«Я сейчас воротился из штаба, где все распоряжения при мне сделаны и завтра исполнятся, когда получу разрешение Вашего Величества».

Именно на этой записке читаем следующие характерные строки, набросанные Николаем I:

«Я все прочел; дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо.

Приступить к аресту, как ты полагаешь, точно лучше, ежели только не будет огласки от такого большого числа лиц на то нужных.

Набокова вперед не уведомляй, а гораздо лучше тогда ему дать знать, прямо от меня, что и сделай.

Кропотова я вытребую от тебя, когда уже все будут взяты.

С Богом! Да будет воля Его!»

В самый последний момент явилось подозрение, что может пойти лед, разведут мосты, и, таким образом, комендант

крепости Набоков не будет извещен об арестах. Дубельт сообщил Орлову о своих сомнениях:

«Льда на Неве нет, мост наведен, и мостовые уверяют, что сообщение с Васильевским островом, в течение ночи, не прекратится.

Я отправлю отношение к Набокову, ежели чуть-чуть будет подозрение, что мост разведут».

Гр. Орлов сделал на этом докладе следующую помету:

«Справедливо по отношению к Набокову. Не лучше ли передать Куцынскому, чтоб он его употребил, ежели мост разведут, и ежели нет, то воротил бы тебе назад.

Дай Бог во всем успеха!»

Итак, благословение Божие было призвано и Николаем I, и шефом Орловым. В ночь с 22 на 23 апреля аресты были произведены.

23 апреля гр. Орлов доносил:

«Честь имею донести Вашему Величеству, что арест совершен, в III отделение привезено 34 человека, со всеми их бумагами. В числе арестованных находятся все главные лица и размещены поодиночке, не привезено еще 7 человек самых незначительных по весьма достаточным причинам один из них, *Плещеев*, в Москве, бумаги же его отпечатаны, один, *Серебряков*, двое суток не ночуете дома, один, *Григорьев* Конногренадерского полка, должен быть в Петербурге, и, наконец, четверо: Берестов, Ламанский, Михайлов, Тимковский, которых квартиры не были известны. К отысканию их квартир теперь уже можно принять меры и принимаются.

Теперь остается мне просить Ваше Величество, не благоугодно ли дать повеление о принятии от меня в Санкт-Петербургскую крепость сих арестованных. Предполагаю, получив Ваше приказание, отправить их сегодня вечером по частям.

Приказание было исполнено с точностью и с большой быстротой, и, по моим сведениям, все совершено с большой тишиной, без всякой огласки и с наивеличайшей аккуратностью».

Государь положил следующую резолюцию:

«Слава Богу! Теперь ждать буду, какое последствие имело над ними сие арестование, и что при первом свидании с главными ты от них узнаешь.

Приказание г. Набокову дал».

24 апреля гр. Орлов сделал новое донесение:

«Сегодня от сильной головной боли я не могу, к крайнему моему сожалению, явиться к Вашему Величеству, нового ничего нет, все смирно и благополучно.

Все арестанты отправлены и сданы в крепость. Принимал их сам комендант, и при сдаче каждого находился от меня полковник.

В принятии от меня каждого арестанта есть особенные расписки. Отправление началось в 10 часов 15 минут вечера, кончилось в 2 часа пополудни. Отправление и сдача их совершены исправно и без всякого приключения.

По списку арестованных лиц остается три не взятых: Плещеев, о котором писали к гр. Закревскому, Михайлов и Тимковский. Сих двух последних сегодня, вероятно, возьмут по сделанным распоряжениям.

Бумаги и все дело отправлены к генерал-адмиралу Набокову».

На этом донесении государь сделал следующие отметки.

Против сообщения о головной боли он написал: «Жалею, но надеюсь, что кончится одной воскресной головной болью».

Против слов о лицах, еще не взятых, Николай Павлович отметил: «Надо Закревскому дать понятие о сделанном открытии».

Наконец, прочитав последние строки об отправлении дела к коменданту Набокову, назначенному председателем следственной комиссии, Николай Павлович приписал: «Пора им начать».

Былое, 1906, февраль.

Состояние государства в 1841 году

(Записка Н. Кутузова, поданная императору Николаю I)

2 апреля 1841 года

При проезде моем по трем губерниям, по большим и проселочным трактам, в самое лучшее время года, при уборке сена и хлеба, не было, слышно ни одного голоса радости, не видно ни одного движения, доказывающего довольствие народное. Напротив, печать уныния и скорби отражается на всех лицах, проглядывает во всех чувствах и действиях. Помня тридцать лет тому назад, что это время года было торжество селянина, дни его радости, оглашаемой от зари утренней до зари вечерней песнями, — эта печать уныния была для меня поразительна, тем более что благословение Божье лежало на полях губерний, мною проеханных (Новгородской, Псковской и части Тверской); на них красовались богатые жатвы, обещавшие вознаградить труды землевладельца более, чем обыкновенно вознаграждает их северное небо нашей родины. Отпечаток этих чувств скорби так близок всем классам, следы бедности общественной так явны, неправда и угнетение везде и во всем так наглы и губительны для государства, что невольно рождается вопрос: неужели все это не доходит до престола вашего императорского величества? Вы не знаете причин бедствий народных, всемилостивейший государь: иначе скорбь бы его обратилась в радость, бедность в избыток, неправда и угнетение в суд правый и в защиту слабого от сильного. По чувству преданности на пользу государства, я поставляю для себя священной обязанностью представить краткую, но верную картину общественных бедствий, открыть то зло, которое тяготеет над землей Русской и которое грозит разрушением всех начал государственного благоустройства. Но прежде рассмотрим, каким образом монарх может в точности узнавать истину и настоящее положение дел.

В монархическом правлении государь трояким образом может узнать истину и состояние своего народа: 1) мешаясь тайно и явно среди самого народа, лично прислушиваясь к его голосу и нуждам и допуская к себе всякого. Так делали Петр Великий, Гарун-Аль-Рашид и последний турецкий султан Махмуд. 2) Дозволяя приближаться к себе всякому в определенном месте, приглашая к себе иногда людей, находящихся вне сферы придворной. Так делали Екатерина Великая и покойный

император австрийский Франц. 3) Дозволяя писать к себе каждому и читая подобные письма, а в случае поразительной несправедливости рассматривая дела и подвергая строгому наказанию виновных. Так делали Петр Великий, Павел I и покойный прусский король, который всякий день посвящал несколько часов на прочтение подобных писем и оставил по себе память отца и благодетеля народного.

Покойный император Александр I, возложив управление гражданскими делами на графа Аракчеева, воспретил всякий к себе доступ: зло росло медленно, но постоянно и обнаружилось взрывом 14 декабря. У престола вашего императорского величества нет ни одного избранного, но зато несколько человек, окружающих вас, составили ограду, чрез которую никакие злоупотребления вам не видны, и голос угнетения и страданий вашего народа не слышен. Скорее можно достичь до престола Царя Небесного, чем до престола царя земного, так говорит народ ваш, и говорит истину. Именем вашего величества воспрещено приближаться к вам и подавать прошения во всех пределах империи. Я не верю, чтобы вы знали об этом запрещении: это остаток повелений предшествовавшего правления, остаток, которого последнее действие было разыграно на Сенатской площади. Это воспрещение в буквальном смысле значит: сильный делай что хочешь, а слабый не смей на него жаловаться; и к кому обратиться угнетенному? К министрам? Но они всегда отвечают, что не мое дело, и, составляя между собою союз наступательных и оборонительных действий, не выдадут один другого. К комиссии прошений? Но она по многим предметам не может входить в рассмотрение, а по которым должна, не хочет, боясь борьбы с сильными. Она всегда плыла по ветру и держалась того берега, который греет солнце и изобилует земными благами: ей тепло и сытно, а народу и холодно, и голодно.

С ранней молодости моей служа под личным начальством вашего императорского величества, существуя вашими благодеяниями, я не имел столкновения ни с какими властями, не испытал ни от кого никаких неприятностей. Едва знаемый кем-либо из окружающих вас, и то по слуху, я могу и должен быть беспристрастен: дела с их делателями представляются мне в настоящем виде и свете, ибо я стою с ними в уровень, смотрю на них своими глазами, прислушиваюсь к голосу народа своими ушами. Итак, положив руку на сердце, я приступаю к обозрению причин общественных бедствий. Для ясности положения, разделяем по ведомствам, имеющим ближайшее влияние на судьбу империи.

При учреждении сего министерства вы мыслили улучшить благосостояние казенных крестьян, но с самого его учреждения оно приняло характер разорения, и положение крестьян не только не улучшилось, но бедность их достигла высочайшей степени, и не от неурожаев, на которые слагают вину, но от самого устройства министерства и от его действий. Государь! Участь этих миллионов несчастных, участь детей ваших, за весь кровавый труд не имеющих куска хлеба, но все-таки обожающих вас, заслуживает вашего воззрения. Сердце обливается кровью, смотря на эту толпу несчастных, год от года приходящих в худшее состояние.

Устройство министерства. Из одного департамента Министерства финансов вдруг выросло три департамента, несколько канцелярий, полсотни палат, сотни окружных управлений, так что вместо ста двадцати прежних управлений явилось более 1500. Подобное умножение чиновников во всяком государстве было бы вредно, но в России оно губило и губит империю. Что оно губило Россию — может удостоверить следующий манифест императрицы Екатерины I:

«Умножение правителей и канцелярий во всем государстве не только служит к великому отягощению штата, но и к великой тягости народной, понеже вместо того, что прежде к одному адресоваться имели, ныне к десяти и более. А все те разные правители имеют особые канцелярии и канцелярских служителей, и каждый по своим делам бедный народ волочит, и все те правители и канцелярские служители пропитания своего хотят, умалчивая о других беспорядках, которые от бессовестных людей к вещей народной тягости ежедневно происходят и происходить будут» (Поли. собр. зак., т. VII, Манифест 1727 г., февр., 24, пункт. 6, № 5017).

Эта истина высказана сто лет тому назад, когда простота нравов требовала одного пропитания; следовательно, что же ныне, когда роскошь и разврат овладели всеми чувствами, поработили сердца и понятия? Теперь стремятся не к пропитанию, но к обогащению, что губит Россию в настоящее время. Этому доказательство — бедственное состояние государства, происходящее от недостатка административного устройства, производящего множество чиновников, желающих обогащения, а от сего нет правды в суде, нет истины в делах — одна корысть и угнетение. У нас каждый министр, для доказательства важности своего управления, старается об учреждении множества департаментов, комиссий и канцелярий,

наполненных множеством чиновников, не понимая, что это доказывает его незнание дела и что от этого управление идет гораздо хуже, по весьма простой истине, устройством мира нам указанной: чем более предметов окружает движущееся тело, тем движение его медленнее и неправильное. От этого множества мест рождается и другое зло для успешного хода дел: бесконечная переписка (с учреждения Министерства государственных имуществ открылись три бумажные фабрики), отчего теряется внимание к самому существу дела, которое уже становится посторонним предметом, а очистка бумаг — главным, дабы для блеска отчетов можно было сказать: поступило несколько десятков тысяч, все решены, а как решены, это известно одному только Богу, ибо Он только один видит слезы и слышит вздохи несчастных.

Действия министерства. Первым действием министерства было описать, что подлежит его ведомству. Это прекрасно, но ежели это считали необходимым, то должно было о причине такой меры опубликовать установленным порядком. Казенные крестьяне, не зная предварительно цели и намерений правительства, думали, что у них отберут их имущество; владельческие крестьяне, напротив, по внушению злонамеренных людей, видели в этом желание правительства избавить их от власти помещиков, это столкновение ошибки со стороны властей и ложного понятия крестьян произвело пожары и убийства. Виновато начальство, а расстреливали людей им вовлеченных в преступления. Вторым действием министерства было взыскание недоимок. Местные начальства, желая показать выслугу перед высшими властями, продавали все имущество крестьян и этой мудрою мерой привели их к разорению: нет скота, нет хлеба, бедность сделалась всеобщей и может быть надолго. Еще лучше, при взыскании податей многие употребляют систему, бывшую в Турции (и там, как разорительную, брошенную): в селении зажиточный крестьянин платит подати за бедных, имея право сам взыскивать с них им заплаченное; отчего все стали равные: все нищие, и ежели есть богатые, то их очень немного и это богатство — последняя кровь, высосанная у несчастных.

Огромность министерства требует огромных издержек, почему на расходы местных управлений собирается по два и более рубля с души. Этот налог и при хорошем состоянии крестьян был бы тягостен, а теперь до невероятности обременителен. Надо знать, что наш крестьянин, едва имея насущный хлеб, платит государству более даже английского фермера, которого благосостояние до крайности развито и защищено законами. У нас один платит за троих и более умерших, малолетних и

поступивших в рекруты сверх сего несет отяготительные повинности: подводную, постоянную и рекрутскую; следовательно, всякое увеличение налогов, прямых и даже косвенных, есть источник конечного разорения. Ко всему этому должно повторить слова именного вышеупомянутого указа: «Управляющие пропитания своего хотят», — и тогда откроется настоящая картина состояния крестьян.

С некоторого времени, особенно по Министерству государственных имуществ, учредилась законодательная фабрика: беспрестанно публикуются новые положения, уставы и проекты — огромные по объему, а малые по существу своему. Истин в законодательстве не много, и они постоянное человеческой мудрости. Законы можно исправлять и дополнять сообразно с потребностью и новыми случаями, возникающими в жизни народной, а не уничтожать все предшествовавшее, дабы постановлять новое, не сообразное ни с местными нуждами, ни с началами государственного благоустройства. Этих великих преобразователей можно сравнить с хозяином, который вырывает столетние дубы, дающие тень и прохладу, дабы садить репейник. Чем надежнее законодательство, тем тверже и непоколебимее форма государственного правления, — истина, доказанная веками, ибо чего должно ожидать от непостоянной человеческой природы, когда и законы, этот святой глагол монаршей воли, выражение его благодати к народу, сделаются игрой прихоти, целью корысти и мишурным покровом грязных дел? Удивительно, что Государственный совет не останавливает этого татарского нашествия на наше законодательство!

Пути сообщения

Пути сообщения, особенно водяные, год от года приходят в худшее положение и при малейшей засухе грозят Петербургу голодом. Это препятствует быстрому ходу внутренней промышленности и развитию народного богатства. Главная тому причина также во множестве чиновников, которые также, по выражению Екатерины I, хотят своего пропитания и обогащения. Вообще, этот род службы считается самым выгодным в государстве. Полезнее было бы уменьшить число чиновников, чем взимать шоссейный сбор с крестьян; и какая справедливость? Крестьяне и мещане платят по 25 копеек с души в год на поддержку дорог, и с них же еще собирают деньги за то, что они ездят по этим дорогам! На крестьянине же лежит повинность исправлять дороги, не поступившие в ведомство путей

сообщения. Эта повинность не была бы так тягостна, как ныне, ежели бы производилась под руководством людей сведущих. Тогда бы не нужно было, в самую рабочую пору, делать поголовные сборы, как бывает при проезде вашего императорского величества, чему я был свидетелем прошедшего года в Псковской губернии. Ныне же при исправлении крестьянами дорог наблюдают одни светила небесные или люди ничего не понимающие в сем предмете, отчего всякий год их чинят. Но они остаются в прежнем дурном положении; особенно мосты через глубокие и быстрые реки стоят обывателям тяжких трудов и больших издержек, но всякий год разрушаются весеннею водой, и даже летом переправа через них трудна и опасна, ибо для прочного их сооружения потребны и наука, и большие капиталы. Все это вместе взятое разрушает благосостояние народное.

Военное министерство

В сем министерстве два элемента подлежат рассмотрению: собственно управление министерства и войско.

В начале царствования вашего величества главное управление всеми отраслями военного ведомства сосредоточивалось в лице начальника главного штаба, под ним управление строевой частью лежало на дежурном генерале, а хозяйственной — на военном министре. Следовательно, та и другая части имели надзор, и ежели хозяйственная занималась иногда хозяйством своего кармана, к вреду казенного интереса, то это была более случайность, происходящая от недостатка устройства и содержания чиновников, и производилась втайне в величайшей осторожностью, без публичного соблазна, следовательно, не имела влияния на *нравственность* государства.

Еще в 1836 году, при издании наказа военному министру, я представлял о сем гибельном направлении законодательства, но это, по выражению Св. Писания, был голос в пустыне. Между тем благосостояние народа год от года падает, поелику это быстрое обогащение лиц в челе управления поразило антоновым огнем все нервы, движущие состав государственный, и ниспровергло остатки нравственности в правлении, а где нет нравственности, в быту ли государственном, в быту ли семейном, там нет счастья. Государь! Есть *нравственное* чувство, которое ведет войско к победам, так точно есть *нравственное* в гражданском управлении, которое устраивает, оживляет и делает счастливым государства. Что же это *нравственное* гражданского управления?

Самозабвение, самоотвержение поданных к пользам государства и славе государя. Но примеры яснее нам покажут это. Цинциннату приносят груды золота, чтобы приобрести его голос к вреду выгодам Рима; но он, не имевший другой пищи, кроме чечевицы, с его же поля собираемой, ни другой утвари, кроме глиняного горшка и деревянной чаши, отвергает это золото! Петр Великий подписал указ, отяготительный для народа; Долгорукий, не находя средств остановить зло, от сего произойти могущее, раздирает его и на вопрос разгневанного государя отвечает: «Это понудила меня сделать ревность к твоей славе и благу твоего народа; не гневайся, Петр Алексеевич, я знаю, что ты не хочешь разорения своей земли». Петр, уважил представление Долгорукого, отменил указ. Вот черты добродетели гражданской, черты, непонятные и не понимаемые настоящим временем, черты, доказывающие величие царя и подданных, достойных этого величия.

Теперь должно обратиться к самому войску, на которое обращено все внимание правительства. Оно блестяще, но это наружный блеск, тогда как в существе своем оно носит семена разрушения нравственной и физической силы. Разрушение нравственной силы состоит в потере уважения нижних чинов к своим начальствам; без этого же уважения — войска не существует. Эта потеря произошла от предосудительного обращения главных начальников с подчиненными им офицерами и генералами: перед фронтом и при других сборах нижних чинов их бранят, стыдят и поносят. От этого произошло то, что, с одной стороны, те только офицеры служат и терпят это обращение, которые или не имеют куска хлеба, или незнакомы с чувством чести; с другой — что нижние чины потеряли к ним уважение, и это достигло такой степени, что рядовой дает пощечину своему ротному командиру! Это не бывало с учреждения русской армии; были примеры, что убивали своих начальников, но это ожесточение, а не презрение. Разрушение физических сил армии заключается в способе ее обучения и в бессрочных отпусках. Мы видим, что четвертая часть армии исчезает ежегодно от необыкновенной смертности и от неспособности к службе, от болезней происходящей; бессрочные отпуска довершают ее опустошение. Эти причины так важны и так тесно связаны с благосостоянием государства, что требуют подробного рассмотрения.

Причины смертности и неспособности^[18].

Это происходит потому, что: 1) рекрут, тотчас по приводе в полки, подвергают всем тягостям обучения, отчего между ними рождается болезнь, известная под именем тоски по отчизне,

болезнь неизлечимая, ибо, истощая душевные силы, уничтожает силы физические; 2) принята метода обучения, губительная для жизни человеческой. Солдаты тянут вверх и вниз в одно время: вверх для какой-то фигурной стойки, вниз для вытяжки ног и носков. Солдат должен медленно, с напряжением всех мускулов и нервов вытянуть ногу в половину человеческого роста и потом быстро опустить ее, подавшись на нее всем телом; от этого вся внутренность, растянутая и беспрестанно потрясаемая, производит чахотки и воспалительные болезни^[19], так что часто по-видимому ничтожная болезнь превращается в смертельную, потому что при повреждении внутреннего организма природа не может сопротивляться и малейшему на нее нападению.

К этому, можно сказать, губительному обучению присоединилась мысль пересоздать человека: требуют, чтобы солдат шагал в $1\frac{1}{2}$ аршина, когда Бог создал ему ноги шагаты в аршин! Следовательно, к растяжению внутренностей присоединилось растяжение связок ножных. От этого войско не в состоянии будет делать тех изумительных переходов, которые делали солдаты времен Суворовских, никогда не имея отставших. Суворов говорил: «Солдата шаг аршин, при захождении 1,5 аршина». Следствие ныне принятой методы обучения можно видеть весной на площадях: солдат после всех вытяжек и растяжек, повторяемых несколько раз в день, по 2 часа на прием, идет в казармы, как разбитая на ноги лошадь! Присоединяя к этому дурное лечение и содержание солдат в госпиталях (из отчета армии за 1837 г. видно, что в госпиталях умирает 15-й человек, а в лазаретах — 28-й), надо удивляться, что не половина войска ежегодно уничтожается. Люди тысячами гибнут без ропота, но и без славы, а народ беспрестанно истощается рекрутскими наборами, повинностью самой тягостной и разорительной: она, выбирая из семейств лучших людей, приводит в бедность и семейства, и государство, теряющее производительные силы без пользы и славы для себя. И для чего эта огромная армия, когда она исчезает от болезней, когда она, можно сказать, сделает благосостояние государства, без славы и пользы для империи? Огромность армии есть выражение не силы, но бессилия государства, которого крепость и могущество заключаются в духе народном, в его преданности и любви к правительству. Эта истина доказана веками, она подтверждена и борьбой Испании с Наполеоном, и нашим славным 1812 годом. В настоящем же положении финансов в России эта громада войск имеет губительное последствие: она, истощая источники жизни общественной, препятствует всякому улучшению.

Бессрочные отпуска. Ежели спросят: какое учреждение в

России имеет более революционных начал? Можно без обиняков сказать: бессрочные отпуска в том виде, в каком они существуют у нас. Бессрочные отпуска должно рассматривать трояко: как гражданское и политическое учреждение и как материальный состав армии. В гражданском отношении они усугубляют бедность народную, ибо селения, к которым принадлежат бессрочные, обязаны платить за них повинности и еще кормить этих трутней. Окружающие ваше императорское величество, желая не пользы государственной, не прочной, истинной славы вашей, славы, основанной на настоящем и будущем благе народа, но сохранения своих ничтожных выгод, средства своего пресыщения, представляют все или в превратном, или в утешительном виде, почему говорят и даже печатают о каком-то поселении бессрочно отпускных; но, видя своими глазами, я могу сказать, что они бродят по земле русской, как бедуины по степям Азии. Летом, в самую рабочую пору, когда каждый из поселян занят тяжкими трудами, на больших трактах, на проселочных дорогах встречаешь одних бессрочно отпускных, они переходят из села в село, где храмовые праздники и трехдневное пьянство. Не только не видать поселившихся, но на вопрос мой крестьянам: почему они не приучают их к работам? — я получил в ответ: «Бог весть, что они за люди, и отцы-то родные выгоняют их из дома; работать не хотят, говоря — мы, дескать, служивые, нам стыдно возиться с сохой, — а где кормить их, когда и для своих ребятишек нет хлеба!» Не спорю, есть и поселившиеся, но, думаю, едва ли и пять тысяч человек на сто пятьдесят тысяч — что ж это такое? Едва заметная капля в море.

Обращаясь к разрешению вопроса политического, надо сознаться, что в будущем бессрочно отпускные будут причиной важных беспорядков и потрясений государственных. Человека не привязанного к обществу ни собственностью, ни семейными связями, бродящего без труда и цели, легко увлечь к беспорядку. Наш век отличается гибельным стремлением к ниспровержению самых святых истин; следовательно, издавая постановления, необходимо соображать с сим направлением века и по возможности ему противоборствовать. Законы переживают нас, и только те из них превосходны, которое, принося пользу настоящему поколению, не будут причиной несчастий поколений будущих. Внуки должны питаться и покоиться от насаждений дедов. Но какую горестную будущность представляет для нас эта огромная масса людей праздных, умеющих владеть оружием, и увлеченная каким-нибудь Кромвелем к разрушению существующего порядка!

Государь! Именем вашей славы, именем блага России,

которые основано на прочности престола, молю вас изменить настоящий порядок по сему предмету! Стоит только немного подумать и для государственной пользы пожертвовать самолюбием, чтобы из этого вредного порядка составить прочное и благотворное учреждение, чтобы дать империи через 30 лет более миллиона войска, которого бы содержание в мирное время ничего не стоило, но которое, развивая производительные силы, увеличило бы общественное благосостояние.

Теперь рассмотрим, увеличивают ли бессрочные отпуска материальную силу армии? Напротив, они, увеличивая численность, в той же соразмерности уменьшают материальность, которая составляет последнюю ступень нравственного войска, того *нравственного*, которое с материальными средствами творит великие дела (пример Румянцев и Суворов), без этого же нравственного огромные силы исчезают, не производя и малых дел. Что же может принести человек, несколько лет живший на свободе и в праздности, туда, где требуется и тяжкий труд, и важные лишения, и беспрекословное повиновение? Чувство, разрушительное для армии: заразу лени, ропота и неповиновения! Недостаточно отпусков после 15- и 20-летней службы, предполагается ввести и после 10-летней; но это еще более послужит к уничтожению физических сил армии и к ее расстройству, ибо, при требовании наружного блеска в войске, должно будет еще более усилить его обучение (которое, как выше доказано, истребляет $\frac{1}{4}$ часть армии); тогда еще более увеличится смертность и неспособность к службе, следовательно, увеличатся рекрутские наборы, и так уже до крайности истощившие государство. Самые полки поставляются этим в затруднительное положение, поелику, лишаясь беспрестанно мастеровых, они не в состоянии будут содержать себя в должном устройстве.

Говоря о вредных для государства административных действиях, необходимо бросить беглый взгляд на попечительство начальства о потребностях жизни народной. В прошедшем [1840 г.], некоторые губернии поражены были голодом. Бедствие было ужасное! Но разве голод вдруг упал с неба? Нет, еще в ноябре месяце 1839 года в них (в губерниях) ели желуди, не было ни всходов на полях, ни хлеба, ни овощей, голод представлялся везде и во всем, а в Петербурге узнали об этом в мае 1840 г., когда целые селения заражены были повальными болезнями, когда уже тысячи умирали в мучениях, когда младенцы умирали у груди матерей, находя в них не жизнь, а заразу смерти! Причина столь предосудительной невнимательности заключается

в вышесказанной истине, что все внимание главных (начальников) обращено на очистку бумаг, для представления в отчетах блестящей деятельности, когда сущность управления в самом жалком положении.

Но это губернии отдаленные, о них только слышно, а не видно. Конечно, в столице более попечительства о бедном классе народа?! Два примера докажут это попечительство. Ныне, в сентябре месяце, я сам покупал лучшую говядину по 17 копеек за фунт, а при мне же с бедного взяли по 20 копеек за самую худшую, потому что он брал только $1\frac{1}{2}$ фунта по лицу и одежде его можно было видеть, что он платил последние деньги, может быть, не имея более и копеечки, чтобы купить соли. Следовательно, вся тягость падает на бедный класс народа; купец прав: он брал с бедного тремя копейками более, потому что такса была в 22 с половиной копеечки за фунт, а виновато начальство. После уничтожения лажа на серебро Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор [граф П. К. Эссен], созвав содержателей торговых бань, спросил их: «Почем вы будете брать за бани, за которые брали по 40 копеек асе. с человека?» Хозяева лучших бань отвечали: «Мы брали по гривеннику серебром на старый курс, по гривеннику же будем брать по новому курсу». Тогда, вместо одобрения, он отвечал: «Теперь все дорого, можно брать по 15 копеек серебром (то есть по 52 копеечки на медь), только не прибавляйте цены на солдат». Отчего же такое попечительство о пользах банщиков? У его зятя [граф Стенбок-Формор] были две торговые бани. Лучше бы обратить внимание на то, что бедный народ мрет тысячами, не имея пристанища и помощи в болезни, ибо на 500 тысяч жителей столицы только 1300 кроватей в мужских больницах. Это безделицы, но они, доказывая попечительство начальства, прямо касаются благосостояния низшего класса народа, — безделицы, которыми не пренебрегали ни Петр Великий, ни Екатерина. Петр лично наблюдал за составлением цен на съестные припасы, обращал внимание на мануфактурные произведения и препятствовал повышению на них цены (что видно из указа 1724 г. — декабря 18-го. Поли. собр. зак., т. XII, № 4618). Екатерина II, усмотрев из ежедневно представляемых ей сведений, что, по случаю неурожая в южных губерниях, хлеб стал дороже рублем на куль, объявила градоначальнику, что не допустит его к себе, пока мука не будет в прежней цене, изволив сказать, что неурожай настоящего года не может иметь влияния на цены муки, заготовленной в прошедшем году. На другой же день цена на муку понизилась. В другой раз императрица, получая подобные донесения и во время путешествия своего по России, бывши в Крыму, изволила увидеть,

что говядина стала дороже копейкой на фунт признав это за злоупотребление, она приказала исследовать тому причину. Действительно, открылось, что один из главных торговцев скотом скупил все гурты и повысил цену.

Вот причины, которые довели государство до настоящего положения, причины, которые сокрыты от вашего величества. Но почему же они сокрыты, когда, говорят, у нас есть тайная полиция? Но это только говорят. У нас корпус жандармов, а не тайная полиция, которая должна все видеть и слышать, а сама быть невидима и неслышима. Это учреждение так тесно связано с благом империи, что требует более подробного рассмотрения.

При учреждении корпуса жандармов взяли в пример подобное учреждение во Франции, забыв сообразить, что там жандармы есть подобие нашей внутренней стражи и что там есть высшая тайная полиция, по указанию которой действуют и жандармы. Напротив, у нас это лучшее учреждение Франции вывернули наизнанку: агенты тайной полиции подчинены жандармам и потому, как обязанные иметь с ними сношения, сделались явны. Сверх сего, у нас всякий, сочиняя для своего ведомства наставления, старается захватить как можно более власти, не понимая, что этим, разрушая общую гармонию государственного управления, причиняет вред и своей части. Так произошло и с корпусом жандармов он кроме характера политического (которого, впрочем, по явности своей, иметь не может) вмешивается в дела гражданские и даже семейные. Это-то вмешательство усилило еще более неправду и злоупотребления, поелику жандармы те же люди, с теми же пороками, страстями и слабостями, как и все живущие под луной, потому-то умели овладеть ими, и красотой женской, и приманкой обогащение, умели опутать их акциями, товариществами и разными спекуляциями. Государь! В мире ничего нет нового, только разве то ново, что забыли, а, к несчастью, люди, которым вверяется составление узаконений, не знают ни этой истины, ни России, ни того, что делалось на земле Русской. У нас было подобное учреждение. Петр Великий, устанавливая фискалов, думал остановить неправосудие и похищение казенной собственности, но вышло напротив: они, как сказано в представлении об их уничтожении, соединились с бессовестными людьми и неправыми судьями и увеличили зло до безмерности.

По вредному направлению нашего века, тайная полиция необходима, но, повторяю, тайная, во всей силе этого слова, почему всякое отличие в одежде, всякое вмешательство в дела управления противоречит ее назначению. В доказательство сего

еще присовокуплю: во время суда над бунтовщиками-поляками богатейшие и, может быть, более виновные имели все средства к оправданию, почему же жандармы не знали об этом? Если же знали, почему не доносили вашему величеству? Люди не ангелы, поэтому-то и постановления должны согласовываться с природой первых, а не в свойствами последних. Необходимо заметить, что в высшем управлении тайной полиции заметно вредное влияние поляков. Для чего возвращать и водворять на места жительства тех из польских дворян, которые принимали участие в бунте? Для того разве, чтоб они были живым примером ненаказанности и зародышем будущих мятежей! Для блага империи надо стараться постепенно переселить все польские фамилии в коренную Россию, а не возвращать тех, кои против ее целостности восставали. У престола вашего возвышается Туркул; не знаю его, не отвергаю его достоинств, но да не коснется это возвышение ни дел империи, ни уставов, издаваемых для России, ибо это участие может внести революционные начала. Преданность поляка России подобна преданности волка, вскормленного рукой человека. Великая Екатерина справедливо о них (и о балтийских немцах) сказала: «Как ни корми, а все в лесть глядят!» Тактику поляков постичь нетрудно: они, видя невозможность силой приобрести независимость, будут стараться, под личиной преданности, внести в законы империи начала разрушительные, в том предположении, что бедствие России даст им средства восстановить их независимость.

К причинам государственного расстройства должно присовокупить и следующие:

1) *Безмерность наград*. В монархическом правлении награды составляют рычаг, которым направляется воля людей к цели государственного благоустройства. Напротив, у нас награды потеряли всю цену: чины и ордена сыплются в безмерном количестве, без разбору, и всего более, на людей ничтожных, на ласкателей и угодников слабостей сильных людей, отчего (ордена) совершенно утратили уважение, перестали быть двигателями честолюбия, тем более, что те титулы, которые должны передавать потомству великие дела и заслуги отцов на пользу отечества и славу империи, вошли в ряд наград обыкновенных, даваемых за одну выслугу лет. После этого что же осталось? Золото и золото, к которому все стремится, которому все поклоняется и которому приносятся в жертву честь, совесть и польза государства.

2) *Невнимательность при назначении к должностям*. Прежде всего, должно сказать, что в наш век не дорожат людьми: чем человек выше чувствами и благороднее помыслами и делами, тем

более стараются отдалять его от должностей, потому что люди подобных свойств служат преградой и помешательством в делах личных выгод. Не так было при Петре и Екатерине Великих. Петр часто возвращался из Сената в сильном гневе от противоречий Долгорукого, Бутурлина и Румянцева. Однажды супруга его сказала ему: «Зачем же не удалишь их, когда они тебе досаждают?» — «Э, Катенька, — возразил Великий, — когда их удалю, кто же будет мне говорить правду?» Петр Великий знал, что правда горька, но полезна в делах царственных: на ней зиждется слава царей и могущество царства. Так точно поступила Екатерина Великая, когда ей сказали, что Панин и Мельгунов осуждают ее действия: «Я не могу их удалить, — возразила императрица, — они люди полезные для государства, а что лично меня не любят, так это потому, что меня не знают». Зато какие, можно сказать, гениальные люди окружали эти светила земли Русской и во всех родах государственного управления! Какие же способы употребляли они для избрания этих людей? Петр Великий, живя среди народа, сам находил их, но Екатерина, не имея этой возможности, употребляла следующее средство: при назначении людей на важные степени, даже в губернаторы (она признавала это звание одним из важнейших в государстве, как и должно быть, но ныне на эти места назначают людей, едва имеющих смысл человеческий), императрица предварительно распускала слух о предполагаемом назначении и через несколько месяцев, собрав общественное мнение (которое ей передавалось верно), определяла к должности. Государыня знала, что, назначая людей по представлению и одобрению приближенных, неминуемо впадет в ошибку, поелику каждый будет стараться окружить престол своими любимцами.

В заключение всего повторяю слова, сказанные Долгоруким Петру Великому: «Это говорить заставляет меня ревность к славе вашего императорского величества и к счастью ваших подданных». Не гневайтесь, государь! Конечно, вы хотите не разорения земли вашей, но блага миллионов, Проведением вам вверенных, на этом только благе утверждается непоколебимость престолов.

Ежели я виновен, всемиловитейший государь, то я виновен в беспредельной преданности к благу земли родной, в желании, чтобы слава Петра и Екатерины Великих осеняла священную главу моего государя, чтобы потомство, подобно как перед этими великими именами, благоговело перед именем вашим.

Россия в конце царствования Николая I (Из «Думы русского» П. А. Валуева, середина 1855 года)

...Давно ли мы покоились в самодовольном созерцании нашей славы и нашего могущества? Давно ли наши поэты внимали хвале, которую нам

Семь морей немолчно плещут.
Давно ли они пророчествовали, что нам
Бог отдаст судьбу вселенной,
Гром земли и глас небес.

Что стало с нашими морями? Где громы земные и горняя благодать мысли и слова? Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега. Неприятельские армии безнаказанно попирают нашу землю, занимают наши города, укрепляют их против нас самих и отбивают нас, когда мы усиливаемся вновь овладеть отцовским достоянием. Друзей и союзников у нас нет. А если есть еще друзья, то малочисленные, робкие, скрытные друзья, которым будто стыдно сознаться в приязни к нам. Одни греки не побоялись этого признания. За это их тотчас задавили, и мы не могли им помочь. Мы отовсюду отрезаны, один прусский король соблаговолил оставить нам открытыми несколько калиток для сообщения с остальным христианским миром. Везде проповедуется ненависть к нам, все нас злословят, на нас клеветают, над нами издеваются. Чем стяжали мы себе стольких врагов? Неужели одним только нашим величием? Но где это величие? Где силы наши? Где завет прежней славы и прежних успехов? Где превосходство войск наших, столь стройно грозных под Красным Селом? Еще недавно они залили своею кровью пожар венгерского мятежа, но эта кровь пролилась для того только, чтобы впоследствии наши полководцы тревожно озирались на воскресших нашей милостью австрийцев. Мы теперь боимся этих австрийцев. Мы не смеем громко упрекнуть их в неблагодарности, мы торгуемся с ними и ввиду их не могли справиться с турками на Дунае. Европа уже говорит, что турки переросли нас. Правда, Нахимов разгромил турецкий флот при Синопе, но с тех пор сколько нахимовских кораблей погружено в

more! Правда, в Азии мы одержали две-три бесплодные победы, но сколько крови стоили нам эти проблески счастья! Кроме них, всюду утраты и неудачи.

...Зачем завязали мы дело, не рассчитав последствий, или зачем не приготовились, из осторожности, к этим последствиям? Зачем встретили войну без винтовых кораблей и без штуцеров? Зачем ввели горсть людей в княжества и оставили горсть людей в Крыму? Зачем заняли княжества, чтобы их очистить, перешли Дунай, чтобы из-за него вернуться, осаждали Силистрию, чтобы снять осаду, подходили к Калафату, чтобы его не атаковать, объявляли ультиматумы, чтобы их не держаться, и прочая, и прочая, и прочая! Зачем надеялись на Австрию и слишком мало опасались англо-французов? Зачем все наши дипломатические и военные распоряжения с самого начала борьбы были только вынужденными последствиями действий наших противников? Инициатива вырвана из наших рук при первой сшибке, и с тех пор мы словно ничем не занимались, как только приставлением заплат там, где они оказывались нужными. Не скажет ли когда-нибудь потомство, не скажут ли летописи, те правдивые летописи, против которых цензура бессильна, что даже славная оборона Севастополя была не что иное, как светлый ряд усилий со стороны повиновавшихся к исправлению ошибок со стороны начальствовавших?

...В исполинской борьбе с половиной Европы нельзя было более скрывать, под сенью официальных самохвалств, в какой мере и в каких именно отраслях государственного могущества мы отстали от наших противников. Оказалось, что в нашем флоте не было тех именно судов, в сухопутной армии того именно оружия, которые требовались для управления боя что состояние и вооружение наших береговых крепостей были неудовлетворительны; что у нас не доставало железных и даже шоссейных дорог, более чем где-либо необходимых на тех неизмеримых пространствах, где нам надлежало передвигать наши силы. Европу колебали несколько лет сряду внутренние раздоры и мятежи; мы наслаждались ненарушимым спокойствием. Несмотря на то, где развивались в продолжение этого времени быстрее и последовательнее внутренние и внешние силы?

...Благоприятствует ли развитию духовных и вещественных сил России нынешнее устройство разных отраслей нашего государственного управления? Отличительные черты его заключаются в повсеместном недостатке истины, в недоверии правительства к своим собственным орудиям и в пренебрежении ко всему другому. Многочисленность форм подавляет сущность

административной деятельности и обеспечивает всеобщую официальную ложь. Взгляните на годовые отчеты. Везде сделано все возможное; везде приобретены успехи; везде водворяется, если не вдруг, то по крайней мере постепенно, должный порядок. Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумажной оболочки, то, что есть, от того, что кажется, правду от неправды или полуправды, — и редко где окажется прочная, плодотворная польза. Сверху блеск; внизу гниль. В творениях нашего официального многословия нет истины. Она затаена между строками; но кто из официальных читателей всегда может обращать внимание на междустрочия!

У нас самый закон нередко заклеямен неискренностью. Мало озабочиваясь определительной ясностью выражений и практической применимостью правил, он смело и сознательно требует невозможного. Он всюду предписывает истину и всюду предопределяет успех, но не пролагает к ним пути и не обеспечивает исполнения своих собственных требований. Кто из наших начальников или даже из подчиненных может точно и последовательно исполнять все, что ему вменено в обязанность действующими постановлениями? Для чего же вменяется в обязанность невозможное? Для того, чтобы в случае надобности было на кого обратить ответственность. Справедливо ли это? Не в том дело, справедливость или неточное соблюдение закона, смотря по обстоятельствам, заранее предусмотрены. В главе многих узаконений наших надлежало бы напечатать два слова, которые не могут быть переведены на русский язык: «*Restriction mentale*».

...Все изобретения внутренней правительственной недоверчивости, вся централизация и формалистика управления, все меры законодательной предосторожности, иерархического надзора и взаимного контролирования различных ведомств ежедневно обнаруживают свое бессилие. Канцелярские формы не предупредили позорной растраты сумм инвалидного капитала и не помешали истребить голодом или последствиями голода половину резервной бригады, расположенной в одной из прибалтийских губерний. Это последнее преступление или, точнее, длинный ряд гнуснейших преступлений даже остаются доселе безнаказанными. Между тем, возрастающая механизация делопроизводства более и более затрудняет приобретение успехов по разным отраслям государственного управления. Все правительственные инстанции уже ныне более заняты друг другом, чем сущностью предметов их ведомства. Высшие едва успевают наблюдать за внешней правильностью действий низших инстанций; низшие почти исключительно озабочены

удовлетворением внешней взыскательности высших. Самостоятельность местных начальств до крайности ограничена, а высшие начальники, кажется, забывают, что доверие к подчиненным и внимание, оказываемые их взглядам на дело, суть также награды, хотя о них и не вносится срочных представлений в комитет господ министров.

Недоверчивость и неискренность всегда сопровождаются внутренними противоречиями. Управление доведено, по каждой отдельной части, до высшей степени централизации, но взаимные связи этих частей малочисленны и шатки. Каждое министерство действует, по возможности, особняком и ревностно применяется к правилам древней системы уделов. Централизация имеет цель наивозможно большего влияния высших властей на все подробности управления и на этом основании значительно стесняет, в иерархическом порядке, власть административных инстанций. Но масса дел, ныне восходящих до главных начальств, превосходит их силы. Они по необходимости должны предоставлять значительную часть этих дел на произвол своих канцелярий. Таким образом, судьба представлений губернских начальников и генерал-губернаторов весьма нередко зависит не от господ министров, но от столоначальников того или другого министерства. Безжизненное однообразие распространено даже на исторические памятники, воздвигаемые на полях сражений; они распределены на разряды и подведены под один нормальный образец. Между тем единство высших административных форм нарушается, без видимой причины, учреждением V отделения собственной его величества канцелярии. Если эта добавочная инстанция признана излишней по делам других Министерств, то почему она необходима по делам министерства государственных имуществ? Действия этого министерства вообще последовательно противоречат одной из главных целей его учреждения. Посредством нового устройства казенных имений предполагалось, между прочим, указать путь к необходимому преобразованию поземельных отношений в имениях частных владельцев. Но министерство не только не создает потребных образцов, но даже вводит или сохраняет, в устройстве казенных крестьян, те именно формы, которые никогда не могут быть приспособлены к быту крестьян в частных вотчинах. Основное и важнейшее правило, что казна в пределах казенных имений не что иное, как вотчинник, подобный всем другим вотчинникам, постоянно и преднамеренно нарушается. Помещик, лично управляющий своим поместьем, имеющий в нем оседлость и непосредственно участвующий, своим умом и своим капиталом, в возделывании принадлежащей ему земли, есть существо

совершенно излишнее по нынешней системе устройства государственных имуществ. Даже в тех губерниях, где издавна существовали арендаторские управления, составляющие ближайшую аналогичную связь между формами устройства казенных и частных имений, министерство по возможности упраздняет эти управления и предоставляет волостным судам те предметы ведомства, которые прежде принадлежали арендаторам, как прямым представителям вотчинной власти.

...Много ли искренности и много ли христианской истины в новейшем направлении, данном делам веры, в мерах к воссоединению раскольников и в отношениях к иноверным христианским исповеданиям? Разве кроткие начала Евангельского учения утратили витающую в них Божественную силу? Разве веротерпимость тождественна с безверием? Разве нам дозволено смотреть на религиозные верования как на политическое орудие и произвольно употреблять или стараться употреблять их для достижения политических целей? Летописи христианского мира свидетельствуют, что при подобных усилиях сокрушается премудрость премудрых и опровергается разум разумных. Святая церковь не более ли нуждается в помощи правительства к развитию ее внутренних сил, чем в насильственном содействии к обращению уклонившихся или к воссоединению отпавших? Нынешний быт нашего духовенства соответствует ли его призванию и правильно ли смотрят на внутренние дела православной паствы те самые государственные люди, которые всегда готовы к мерам строгости против иноверцев или раскольников? О раскольниках сказано, что их религиозная жизнь заключается в «букве и недухе» (1855 г.). Кажется, что иногда сама православная церковь тяготеет над ними «буквой и недухом». Быть может, что если бы наши пастыри несколько более полагались на вышнюю силу вечных истин, ими проповедуемых, и несколько менее веровали в пользу содействия мирских полиций, то их жатва была бы обильнее.

...Везде преобладает у нас стремление сеять добро силой. Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания. Везде опека над малолетниками. Везде противоположность правительства народу, казенного частному, вместо ознаменования их естественных и неразрывных связей. Пренебрежение к каждому из нас в особенности и к человеческой личности вообще водворилось в законах. Постановлениями о заграничных паспортах наложен домашний арест на свыше 60 миллионов верноподданных его императорского величества. Ограничением числа обучающихся в университетах стеснены пути к образованию. Закон о гражданской службе сглажен, по мере

возможности все различия служебных достоинств и все способности одинаково подведены под мерило срочных производств и наградений.

Русская Старина, 1891, май.

notes

Примечания

В XVII в. клейма налагались каленым железом, а со времени Петра I — особыми штемпелями, на которых были наложены стальные иглы, образовывавшие буквы, иглы эти вонзались в тело и производили ранки, которые до 1846 г. для неизгладимости затирались порохом, а с этого времени — особо изобретенным средством (смесь индиго и туши), клеймение отменено указом 17 апреля 1863 г. (*Биншток*. Материалы для ист. отмены телесных наказаний в России. — «Юридические вести; 1892 г., № 7).

Не присутствовали из наличных только: граф Мордвинов, граф Толь и Оленин, в это время уже совершенно расслабленные; Перовский и князь Меншиков по болезни; наконец, граф Эссен, которому, по званию петербургского военного генерал-губернатора, назначено было явиться в этот день во дворец с вновь выбранными от дворянства в должности, но который, прождав там государя до 4 часов, был принят уже на другой день.

Не полагаясь на одну свою память, я посадил в зале собрания двух чиновников, чтобы записывать, сколько каждый успеет, все, что будет говорить государь. Потом я привел их набросанные наскоро записки в порядок и дополнил тем из сказанного, что ускользнуло от их внимания. Таким образом, написанное здесь представляет не только собственные мысли государя, но везде и собственные его выражения, сколько сие доступно было без помощи стенографии. *(Из современных записок статс-секретаря барона Корфа).*

Государь высказался за то, чтобы дозволено было выкупаться не иначе как целыми селениями, и выразил желание, чтобы, в случае надобности казна оказывала крестьянам пособие для выкупа.

Просьба тульских дворян в 1847 г. об учреждении в губернии официального комитета по крестьянскому делу и подобное же предложение Кошелева относительно Рязанской губернии были отвергнуты.

В «показаниях генерал-адъютанта А. Г. Тимашева» мы находим следующее важное известие: «Всем известно, что император Александр II, до своего воцарения, был противником освобождения крестьян. Перемена воззрения на этот предмет находит свое объяснение лишь в том, что произошло в последние минуты жизни императора Николая... По рассказу, слышанному мною от одного из самых приближенных к императору Николаю лиц, а именно от графа П. Д. Киселева», государь Николай Павлович «незадолго до кончины» сказал наследнику престола: «Гораздо лучше, чтобы это произошло сверху, нежели снизу» («Русский архив», 1887, № 6, стр. 260). Известие это о словах императора Николая нуждается в подтверждении (ср. *ibid.* стр. 262).

«Русская Старина», 1873, сентябрь, стр. 413.

По всем четырем углам Михайловского манежа стоят железные печи. На домашних репетициях развода, при марше рядами, держали линию так, что передний офицер шел на заслонку печи, а остальные равнялись в затылок.

«Из очерков недавней старины». Русский архив, 1871, стр. 1264–1270.

В своем рассказе я совершенно умалчиваю об иностранной цензуре; сообщу здесь только, кстати, следующее любопытное обстоятельство. Иные иностранные книги дозволялись с исключением известных мест. Об этом сообщалось губернаторам для наблюдения; один из них помещал эти сообщения цензурного ведомства в «Губернских ведомостях», печатая целиком и все исключенные места, так что подписчики этой официальной газеты могли знакомиться с запрещенными местами, не знакомясь с самой книгой.

Несколько раньше был учрежден подобный комитет под председательством кн. Меншикова, с менее широкими задачами; затем он уступил вскоре место бутурлинскому комитету.

Перевод с французского. Двор в это время, в ожидании коронации, был в Москве, где находился и генерал Бенкендорф.

Слова, напечатанные курсивом, подчеркнуты карандашом, и против них, на полях, написано, карандашом же, рукой генерала Бенкендорфа: *надо бы узнать, сам ли Фогель это сделал или по приказанию.*

вмешательство царской цензуры — *И.З.*

Напечатанный далее в издании 1910 года 12-страничный очерк Герцена «Последний праздник дружбы» здесь опущен. — *И.З.*

Относительно здоровья и во всем другом выгоды тирана совершенно противоположны нашим: например, маневры страшным образом разрушают наше здоровье, а император часто затевает маневры именно для поправления своего здоровья, ему прописали это лекарство Арендт и другие доктора как лучшее средство для развлечения, зная его особенную наклонность к военным экзерцициям, так и здесь здоровье императора укрепляется за счет разрушения и страдания тысяч (на наших маневрах, когда соединится гвардейский корпус и гренадерский, думаю, что бывает войска до 150 000 человек).

Пропуски находятся в оригинале. Вероятно, и неясности текста принадлежат Липранди и его «образованному агенту». (Примеч. «Полярной Звезды»).

Из отчета действующей армии за 1835 г. видно, что по спискам состояло 231 099 чел., заболело 173 892 чел., следовательно, почти вся армия была в госпиталях, умерло 11 023, то есть каждый двадцатый человек. Зная по опыту, что неспособных бывает одна четвертая часть против умерших, выходит, что с лишком 15 тыс. выбывает. Это в армии — но что же в гвардии, где обучение производится с напряжением всех сил! Суворов говорил: «У некоторых заболевает 1 на 100 в месяц, а у нас и на 500 менее; солдата, который два раза был в больнице, на третий тащит к себе домовище (гроб)!» Суворову можно верить.

Измумительное различие: тогда на 500 чел. здоровых был один больной; ныне на 500 чел. больных один здоровый.

По отчету армии 1835 г. видно, что из 173 892 чел. больных было одержимо воспалительными и изнурительными болезнями 130 тыс. человек.